

ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ

Очерк

Красивее местности, окружающей О...ий улус, мне редко доводилось встречать, несмотря на мои частые раз'езды в предгорьях Алтая. Улус, имеющий до семидесяти дворов, раскинулся в живописном беспорядке на высокой горе, заросшей лесом, и по уступам ее. Со всех сторон его окружают гряды гор, постепенно возвышающихся одна над другой, поросших густым черным лесом, и самые дальние из этих гряд, или, вернее, волны застывшего каменного моря, всегда почти покрыты синеватою дымкой. За последнею синеющею чертою этих гор в лазурном безоблачном небе уже резко вычерчиваются суггестивные вершины Алтая. На первый взгляд они кажутся скорее цепью прихотливо клубящихся на горизонте облаков. Я и принял их за облака, когда, не доехав двух верст до улуса, мы поднялись на гору, называемую Архиерейскою, и перед моими глазами раскинулась эта поразительная картина, чарующие красоты которой можно передать только кистью, а не словом. Я слез с телеги и долго не мог оторваться от этого зрелища. Впереди тянулись гряды гор с прихотливыми очертаниями, а сзади раскинулась широкая долина, и разбросанные по ней села и деревни казались какими-то крошечными муравейниками. Долина замыкалась широкою серебристою лентою реки Томи, за которую снова начинались горы, и тянулись... уже бог весть куда.

Яищик, пожилой крестьянин, тоже слез с облучка телеги, поправил сбившуюся сбрую на лошадях, прикрепил ремешком гайку у одного из колес, на задней оси, и остановился рядом со мной.

— Сколько мне не доводилось возить господ. — произнес он, — все, слышь, подолгу останавливаются на этой горе да любуются. А раз, это архерей проезжал, так уж так-то ему понравилось тут, что приказал, слышь, ковер разложить на земле-то, сел на него да и говорит: «ставь самовар»...

— Кому же сказал он это? Тебе? — спросил я.

— Пошто мне, Своим прислужникам. Мало ль с ним тогда народу-то ехало: почитай, на пяти повозках; разгон-то лошадям не малый был в те поры, — пояснил он. — Ну, меня сейчас же это на вершной отправили в улус за самоваром, посудой и водой. Часа три он потел, тут за чаем-то. Так с той поры мы, энту гору и зовем Архерейской. И чудак же, слышь, был! Подозревал это меня к себе и говорит: «Понимаешь ли, говорит, ты, сколь вы счастливые люди, а!»

— Чем, говорю, энто, ваше степенство, усчастливились-то?

— А что в эвтаких местах, говорит, живете, где, говорит, куды, значит, теперича ни взглянь, завсе перед тобою бог... И долго, слышь, энто поучал.

— Кого же, тебя?

— Оно уж должно так полагать, что всех с'обра!

— Чему же поучал-то?

— Мудрено оно, если рассказать-то тебе, братец, — а только о боже все это поучал: и как оно, стало быть... значит, должно... и почему; а опосля, слышь, того... заплакал.

— Отчего?

— Бог его знает пошто... Должно сторона своя вспомнилась ему, что ль. Слезно всплакал!.. Ну, сколько, значит, народу тут ни было, все стоят это... молчат да подглядывают на него. Поплакал он это, поплакал, встал с ковра, помолился, слышь, на все четыре стороны и в путь... Рубь, слышь, в те поры мнё сверх прогону пожертвовал за то, что самоваром-то его удовольствовал.

За полверсты до улуса слышится шум горной речки Кандалеп, текущей водопадами по наклонному руслу; но только с горы, при самом въезде в улус, виднеются пенящиеся волны его... Они точно мечутся в своих гранитных оковах, как бы силясь прорвать их. Высо-

жие, скалистые берега Кандалепа то спускаются отвесною стеной вниз, то висят своими выдавшимися вершинами над бездной. При взгляде на эти серые, поросшие мхом скалы становится страшно за них... Достаточно, кажется, легкого толчка, чтоб нависшая масса пошатнулась и с грохотом ринулась вниз, увлекая при своем падении гигантские ели, глубоко пустившие в расщелины их свои корни. Довольно крутая дорога в гору, на которой стоит улус, вилась зигзагами. Глинистый наносный грунт ее был глубоко изрыт весенними дождевыми потоками, обнажившими толстые серые корни елей, росших по уступам горы.

Иногда среди дороги выдавался громадный гранитный камень, преграждая путь, и его нужно было обезжать на крайне узком пространстве, при чем малейший неосторожный поворот колеса грозил падением телеги, а может быть и лошадей, с этой страшной крутизны вниз, в пенящиеся волны Кандалепа. Поднявшись в гору, я пошел пешком узкой просекой среди сосен, елей и пихт. Усталые, взмыленные кони едва тащились сзади, плохо повинуясь и понуканиям ямщика, и хлопанью бича его. Через полчаса ходьбы просека постепенно стала редеть, и предо мною раскинулась широкая поляна, тянущаяся по всему протяжению горы, застроенная чистенькими одноэтажными домиками в два и три окна, обнесенными досчатыми заборами и хозяйственными пристройками. Это и был О...ский улус, носивший только нерусское название, но не отличавшийся своим наружным видом от русской деревни.

Хозяин квартиры, в которой я остановился, — красивый, высокого роста мужчина, средних лет, одетый в казакин толстого черного сукна, — приветливо встретил меня и ввел в чистую просторную комнату, бедно обставленную деревянными некрашеными стульями, повидимому домашней работы. Более всего поразило меня в убранстве комнаты то, что деревянный поставец, стоявший в левом углу комнаты, вместо посуды; наполнен был книгами. Между романами Дюма, Поля Февея и других, тут было несколько чумеров, значительно уже потрепанных, журнала «Современник», несколько разрозненных томов сочинений Белинского,

«Мертвые души» Гоголя и полное собрание^{*} сочинений Островского. Я не верил своим глазам, чтобы в инородческом улусе, затерянном в горах Алтая, можно было встретить «Современник», сочинения Белинского, Гоголя и Островского.

Вслед за ямщиком, внесшим в комнату мои вещи, вошла молодая женщина, весьма некрасивая собою, с выдавшимися скулами и узенькими враскос глазами, обличавшими ее татарское происхождение. Накрыв стол чистою скатертью, она поставила на него поднос с чайной посудой. Вслед за нею вошел и сам хозяин, неся самовар.

— Эти книги вам принадлежат? — спросил я его, указав на поставец.

— Все мои, сударь... за малым разве исключением, — ответил он.

— Вы, вероятно, любите читать? — спросил я, привлек его сесть и напиться со мною чаю.

— Скука в иную пору одолевает, сударь, особенно по осени! — ответил он, приставив стул к столу и развязно присаживаясь на нем. — Ну, и почитаешь... для времяпровождения, оно все же заместо развлечения служит... Иная книга даже очень забавная...

— Вы что же, крестьянин?.. или...

— Мещанин-с, — прервал он меня. — Я-то, собственно, сударь, происхожу, доложить вам, из воспитанников военно-сиротского отделения... из кантонистов. По упразднении этих рот я, как не пожелавший остаться в военном ведомстве, приился в К-е мещане... Человек-то грамотный-с... с почерком пера: я сразу нашел себе занятие. Спервоначалу-то в писаря поступил к бывшему исправнику, потом несколько лет у господ заседателей в писарях служил... да вот лет десять назад женился. Тесть-то мой инородец, но уж сыздавна обрусовший, принял меня в дом, а теперь и все хозяйство предоставил в мое распоряжение и, благодаря бога, живу-с!..

— Чем же вы занимаетесь здесь, хлебопашеством?..

— Не-е-т-с! Не свычное для нас дело, — ответил он, принимая налитый стакан чая. — Пасеку имею, более пятидесяти колодок... Торгую медом, воском, скотина водится... Окромя того-с, в трех инородческих воло-

стяж письмоводство заместо писаря веду, двести рублев в год за это получаю: оно и ладно. Да окромя сего здесь живет бо-о-огатый инородец, Назар Степаныч Куртегешов, может изволили слышать когда...

— Да, слышал.

— Так я, вот, у него теперича все счеты веду, заместо как бы бугалтера: тоже рублев сто перепадает в год, и колочусь... Назар-то Степаныч всеправлялся, когда вы прибудете, и просил беспременно дать знать ему...

— Зачем?

— Представиться желает вам!.. Он со всеми почесть господами чиновниками в очень даже коротких отношениях живет; очень они его уважают!..

— За что же уважают так его?..

— Оно, если доложить вам, сударь, по правде, то первой всего известно... за капитал, — с иронией произнес он, откашливаясь в ладонь левой руки. — Церковь теперича Назар Степаныч построил здесь... своим иждивением... медаль золотую на шею получил: Человек с властью...

— С какою же властью?

— А так доложу вам, что малозначущему суб'екту и добро может сделать и зло сотворить... Крупный человек-с, при всем своем натуральном невежестве, потому он и в господа бога верует, и одновременно шайтану жертвы приносит!..

— Как же это так? Ведь он христианин?..

— Так точно-с. Но ежели теперича он захворает, — а хворает он вчастую, по приверженности своей к запою, — то первым делом сейчас это исповедается и причастится у русского священника, а ежели это не поможет, то пошлет гонца в тайгу за шаманом: «Камлай, говорит, какую шайтану жертву надуть, чтоб перехватить мне дал?» Тот и камлает над ним. Они ведь, все эти крещеные инородцы, сударь, сколь их ни есть, только по званью христиане, а по естеству как были язычники, так и остались ими. Иные из них, ведь, по два раза крестятся, да и в третий не прочь...

— Не может быть!.. — сказал я, удивленный подобным открытием, так как был вполне убежден, читая отчеты о миссионерской деятельности, что насаждение

христианства между алтайскими инородцами зиждется на твердом упрочении в среде их основных догматов православия.

— Извольте — верьте или нет, власть-воля ваша, а это так точно: я даже самолично знаю некоторых инородцев, что по первому крещению он наречен Иваном, а по второму — Федором.

— И это открывается впоследствии?

— Вчастую-с!..

— И не влечет за собой никаких последствий двое-крещенцам?..

— Младенцы ведь они... неповинные в понимании-то своем, сударь... чего ж с них взять?.. Судите их за это, да что же толку-то будет, коли он одно и понимает, что новая вера в том только и заключается, что его в воде покупают... да вместо имени его Анахалия или Едзина назовут Иваном или Федором. Износит, например, инородец рубаху, зипун, сапоги или шуба ему понадобится — и идет к миссионеру или какому-нибудь священнику: «Крести меня, бачка, да давай рубаху и шубу; эзма, говорит, подходит... холодно... стужа!» Ну, и крестят его... и получается христианин.

— Отчего же в таком случае священники не наводят предварительно справок друг у друга, во избежание вторичного крещения?

Хозяин, вместо ответа, слегка махнул рукой и, отвернувшись в сторону, улыбнулся.

— Вы, должно быть, хорошо изучили здешний край и порядки? — спросил я, поняв, что он, вероятно, не без причины умолчал на последний мой вопрос; — позвольте узнать ваше имя и отчество?..

— Никита Васильев Еремин, сударь, — произнес он, привстав со стула и слегка откашлявшись в ладонь левой руки. — Понагляделся, сударь... многое прозрел, раз'езжая по тайге с господами чиновниками, — ответил он после непродолжительного молчания. — Да и за энто время, как поселился здесь, тоже не без наблюдения был. Любопытного довольно-с... Жаль! даже очень жаль инородцев! Свояки, ведь, теперь они мне доводятся по жене-то, — с иронией добавил он. — Хороший они народ, сударь, если разобрать их по качествам ихним, особенно черневые та-

тары или теленгуты, как зовут они себя... С ними ежели дело какое вести, сударь, то записей не надо иметь: ежели он взял у вас копейку, так он в десять лет не забудет своего долга, и поминать ему не надо, сам привезет. Только разоренный уж народ... нищие!..

— Кем же разорены?

— Мало ли около них, сударь, капиталов нажилось и по сю пору наживаются...

— Купцами?

— Все по малости около них руки-то греют, — уклончиво ответил он. — Иной раз, сударь, доводится мне в городе бывать. Есть там мне знакомый учитель уездного училища, Михайло Микитич, может не изволите ли знать. Газеты он мне дает читать «Голос» и «Северную почту», ну и книжками снабжает, что по новей... читаю их, Многое иногда пишут в них, что деется на белом свете, и не смеха ради доложу вам: так и хочется в ину пору все энти здешние порядки в газетах прописать, да потом опосля того пораздумашься, так даже стыдно станет от энтакой затеи...

— Почему же стыдно?..

— Кто я?.. — весь вспыхнув, спросил он, — Мещанин, кантонист бывший, и теперь вдруг насмелиюсь... в газетах писать. Статочное ли дело... посмеянье одно будет.

— От кого же посмеяния-то вы ждете?..

— От тех же господ писателей... на смех, поди, и подымут... Да опять, как подумаешь, так и то сказать надо: не приберешь с чего начать... А уж очень, бы эти порядки наши следовало пропечатать... Совсем теперь гибкий край, сударь, становится... Ведь, как мухи, с голоду инородцы эти мрут, и все потому, что их обирают и ни от кого защиты им нет... Ведь теперича иной раз, — сказать вам по совести нужно, — весь звериный улов инородца... рублей может быть на сто, на полтораста, коли не более... за долг отбирают... который он уже в десять раз, может, выплатил... Не обида ли!..

— Это купцы так упражняются?..

— И купцы, сударь... и зажиточные крестьяне ползутся, и господа чиновники маху не дают.

— И те обирают даже?..

— Дочиста, случается...

— Расскажите, пожалуйста, под какими же предлогами они обирают их...

— Я бы, сударь... того-с... с полным бы удовольствием... только-с... — начал он, спохватившись о своей яеосторожности, и, весь покраснев, замялся... — Я... я... немножко того-с... стесняюсь... — забормотал он; — потому, сами изволите знать... человек я маленький, ничтожество... Если теперича донесется до кого, что я такую хулу, поношение, можно сказать, кладу... долго ль смять меня, раздавить как червя-с... — говорил он, поминутно кашляя в руку и стыдливо потупив глаза.

— Вы боитесь, что я буду нескромен? — прервал я, желая вывести его из неприятного положения.

— Не то, чтоб-с... а более для ограждения.

— Будьте спокойны: все, что вы скажете мне, останется между нами... Я вам должен быть благодарен еще, что вы делитесь со мной своими наблюдениями над этой мало кому известной жизнью...

— Точно-с... совсем глухая сторонушка, — прервал он, робко взглянув на меня, как бы желая проверить, насколько искренно мое уверение о сохранении втайне его рассказа: — «совсем глухая-с!..» — повторил он, оживляясь. — Кого понесет в наши горы, где и дорог-то нет, и поесть-то порою нечего, глядеть чего деется в них, как живут эти дикии теленгуты... А живут они жалости подобно!.. А кто и заедет если к ним, так боле для того, чтоб обобрать их... Все ведь инородцы имеют большую приверженность к вину, сударь. За рюмку вина он готов отдать все, чего у него есть, и скотину, и жену, коли хочешь!.. Вином-то торговать у нас в Алтае законом не допускается; даже в деревнях-то поблизости к улусам запрещено кабаки открывать, чтоб оградить тем инородцев от пьянства и вместе разорения, а господа чиновники, где бы строго следить за этим и преследовать других, сами вино превозят да торгуют им...

— Неужели исключительно для торговли вином они и ездят в горы? — прервал я.

— Не-ет-с, как это можно!.. Это делается благородным образом, сударь, на высший манер! Определится, например, господин чиновник на службу... участковым

заседателем или исправником и приедет сюда. Первым делом для того, чтобы поправиться, он едет в Чернь к инородцам, будто бы вырешать накопившиеся дела.. Подберет себе толмача из инородцев... переводчика, как бы сказать... из опытных в этом деле... Есть тут таких инородцев человека три-четыре, бога-атых теперь уж. Толмачеством и нажились... И первый Назар Степаныч начал с того, что был толмачом; с этого ремесла и жить пошел.. Купит себе господин-чиновник ведер пять спирту и едет! Приедет он в улус — разошлет оттуда нарочных по всем ближним улусам с вестью: «что, дескать, чиновник приехал, так пускай башлыки явятся». А башлыками в улусах называются люди, выбранные обществом, как и в русских волостях старшины или головы; в башлыки уж всегда выбираются самые зажиточные инородцы. Известное дело, башлык приедет не один: он захватит с собой и других зажиточных одноулусников, и все они приедут на поклон к чиновнику не с пустыми руками: кто двух-трех собольков привезет, лисичку, иногда и чернобуренку, белочек, хорьков по пяти, по десяти шкурок. Приедут, поклонятся, поднесут гостины, вот чиновник-то им, будто в благодарность за гостины, и подаст по рюмочке спирта.. А рюмочка-то эта их... и разлакомит... Выпьют они и затросят по другой... Даст он им по другой. Как по другой-то они выпьют их и разбере-е-ет... Они и полезут: дай им по третьей... Он их, известно, прогонит... В эфту-то пору толмач и шепнет им, что «у барина вина мно-о-ого, но только про себя бережет... Пожалуй, говорит, если подарите меня, то я попрошу его... поторгую у него вина-то... авось он по бутылочке и продаст вам!» Ну и поторгует... Бутылочка-то в три-четыре рюмочки и обойдется инородцу рублей в двадцать, а может и более... Таким-то образом, как об'едет господин-чиновник Чернь, дел-то вырешить не вырешит... а шкурок-то на тысячонечку, на две... вывезет... и поправится...

— И все так делали?...

— С испокон веку, сударь, так деялось и деется... Здесь был исправником, сударь, Иван Мироныч Конаев... так такие, ведь, капиталы нажил: во многие десятки тысяч!..

— От инородцев?

— По большей части от них... Он и Назара Степаныча Куртегешова в люди вывел: и тот имеет теперь капиталу, пожалуй, тысяч... сто, коли не более... Кто был Назар Степаныч лет тридцать тому назад, если посказать?.. Бедный инородец... в работниках жил, и не раз былбит за воровство. Ну, сказать правду нужно, сударь, парень он верткой, не дурак... Вся его фортуна началась с того, что попал в толмачи к Ивану Миронычу, ну, Иван Мироныч... оценил его и усчастлишил...

— Чем же?..

— Много, сударь, было дел меж ними, если перетряхнуть старину... Бывало и так: навезут крестьяне Ивану Миронычу хлеба, да пошлет он еще закупить его от своего имени по уезду, ну и накупят. А ведь у инородцев хлебопашства нет, обруслые только занимаются им, да и то спустя рукава, а черневые инородцы в редкость, которые сеют ячмень, да и то в недавнее время только стали заниматься этим. Зима для них всегда голодное время. Вот, бывало, Иван Мироныч и сделает распоряжение, чтобы крестьяне не смели инородцам задавать хлеба в долг, потому-де, пользуясь их нуждой, они только разоряют их этим путем. Кто же посмеет пойти против его воли!.. Ну, крестьяне и не дают инородцам хлеба. Пользуясь этим, Иван Мироныч скупленный-то хлеб через Назара Степаныча и раздает инородцам в долги, да впятеро дороже, чем бы крестьяне роздали..., а потом и выбирает с них долг шкурками... да скотом. Шкурки-то как накопятся, он и отправит с Назаром Степанычем в Ирбит на ярмарку или в Нижний. Затратит он на покупку хлеба много тысячу, две, а вернет пять... да десять... Оно и оборот!. И вином торговал он таким же порядком; да не буду греха таить: на много тысяч, сударь, и фальшивых ассигнаций переведено им через руки Назара Степаныча в тайгу к инородцам. А скот-то, скупленный у инородцев на фальшивые деньги, перепрода-вали на десятки тысяч крестьянам да купцам...

— Неужели все это правда, Никита Васильевич?

— О-ох, сударь... многое похоронено темных дел в наших горах! — с грустью в голосе ответил он. — На

вид-то только они красивы: любоваться да любоваться ими надо, а как поживешь в них, присмотришься к тому, чего творится в них... так бежал бы из них за тридевять земель... Поневоле махнешь только на все рукой да и скажешь: на то здесь и Сибирь, на то и глухая она сторона, чтобы всякая правда в ней за сказку другим казалась... Далеко в старину не буду, сударь, заглядывать, — вздохнув, начал он: — уж в ближнее время, в бытность мою здесь в 186... году, у инородцев был голод, какого и старики не запомнят... Перемерло их от голода страсть сколько... По тропам в горах находили целые семьи, мертвыми; как значит, тащился муж с женой да детьми из гор, силясь добраться до какой-нибудь деревни, так и падали на дороге... в одной версте, глядишь, один ребенок брошен, а там другой, а подальше и мать на корточки присела да Богу душу отдала, а где-нибудь в горе и отец свалился... уж, значит, не было сил подняться в гору, — так и застыл. Многие трупы детей изглоданными находили, это уж, стало быть, мясом своих детищ питались. В иной юрте в лоск всю семью мертвой находили с изглоданными руками и ногами... У другого инородца еще хватало силы добраться до улуса обруселых инородцев или до деревни... да тут, у околицы ее, он и Богу душу отдавал.. Ужас, ужас только рассказывать, чего творилось!.. Одни мрут, а другие, пользуясь этим, наживаются около них. Разбой стоял несосветимый; за пудовку ячменя с них, несчастных, брали, чего только глаз видел. Купцы эти и торговые крестьяне христианами пишутся, а в эту пору хуже зверей уподобились. Сотнями бежали из гор инородцы, всяким Богом умаливали выдать им в ссуду хлеба. Начальство вникло в бедственное положение их, да заместо того, чтоб сейчас же, не теряя часу, оказать помощь, возбудило вопрос: можно ли инородцам выдать в ссуду хлеб из запасных крестьянских магазинов, так как хлеб этот составляет неприкосновенный крестьянский капитал? И пошел этот вопрос гулять да погуливать: иная бумажка эта где-нибудь неделю-две под сукном полежит, а народто мрет да мрет!.. Ну, к весне и вопрос разрешился: «можно выдать!» Только уж многие из ходатаев-то не нуждались больше ни в какой ссуде, кроме поминанья.

за упокой!.. Хорошо-с! Во избежание каких-либо корыстных притеснений со стороны русских волостных начальников, при выдаче инородцам хлеба в ссуду из магазинов, командировали чиновника производить эту выдачу, господина О-на. Вот этот-то господин-чиновник, сударь, и натворил чудес... Инородцы изды-хают от голода, вопят: давай хлеба!.. А он говорит: коли поднесете мне вот столько-то, так сейчас выдам, а не поднесете, так я еще буду производить удостове-рение: настолько ли вы благонадежные люди, что, взявшими хлебную ссуду, будете в состоянии возвратить ее. Что было делать им, сударь? И полезли они в кабалу к крестьянам, чтоб дали им денег — подарить чиновнику, чтоб не дал им помереть бы с голоду и выдал хлеб. Да ведь в какую кабалу залезли!.. Иные вот уж несколько лет работают на крестьян за этот долг.. и все-таки не могут отработать!.. И нажился таким путем господин О-н... Вернулся в город да домик купил... лошадками обзавелся... Теперь, скаживают, и пасека есть... и женушка щеголяет в шелках; а прежде, скаживали, и ситцевое платьице было в редкость!..

— Неужели эти подвиги его остались в секрете?..

— Здесь, сударь, ничего в секрете не остается! Все это знают, да еще его же похваляют: молодец, говорят, нашелся около хлебного дельца... и сам с корытом стал!.. — с иронией закончил Никита Васильевич.— Такими-то путями, сударь, и обнищали здешние инородцы. Теперь уж в редкость где встретишь зажиточного инородца, да и тот, кто теперь считается богатым, в прежнюю пору казался бы бедняком. Вот как времена-то переменились... Што, сударь, сказать вам; уж коли чиновники обирают, так суди их бог... Ильги он оберет, иному и поможет в чем... Куда ни шло... А то, ведь, мелюзга-то, глядя на них, чего проделывает... так смех и горе!.. ◆

— Какая же мелюзга?..

— К примеру скажу вам: есть здесь окружной фельдшер Т-в. Давно уж он тут служит.. почитай, лет двадцать теперь; тоже человек с состоянием!..

— И тоже около инородцев нажил?

— Одна здесь коровушка-то, сударь, которую все доят, только никто не кормит,—с иронией ответил он.

— Этот-то каким путем наживается от них?..

— Распотешным. Посказать, так смех разберет! Он обязан, сударь, через год об'езжать всю тайгу, все аилы и прививать там оспу детям, потому от оспы этой инородцы тоже сотнями вымирают! Вот он и ездит... да ведь какие фокусы-то выкидывает! Приедет, к примеру, в аил и велит башлыку собрать всех матерей с ребятами. Ну, в аиле, конечно, сейчас поднимется суета, беготня... Соберет башлык баб с малолетними детьми... и приведет к нему. Вот он и начнет вынимать при них из ящика все свои инструменты нарочно для того, чтобы напугать: нож, которым трупы разрезывает... пилу, которой черепа спиливает... долото, ножницы, шилья, иглы... да при них же еще и начнет на брусе нож натачивать... Посудите, сударь, сами: видя эти приготовления для привития оспы, инородки, какие бы они ни были дикарки, но ведь все-таки матери, любят своих детей так же, как всякая другая мать; поневоле обольется у всякой из них сердце кровью от ужаса за детей своих.. Ну, и поднимается плач... стоны... в ноги к нему повалятся... Батюшка, возьми чего хошь, только не режь ребят. А ему этого только и нужно; ну и начинает торг... «Не резать, говорит, нельзя... Лекарь узнает, что я не резал — сам приедет, так и не таким еще ножом, говорит, зарежет... А коли, говорит, каждая из вас даст мне по два, по три соболька, так я маленьким ножичком, тихонько порежу ваших ребят, так, что они и не услышат!» и покажет при этом на ланцет. «А коли, говорит, не дадите, так я вот... за этот... за настоящий нож возьмусь... каким начальство велит резать!» И нанесут, сударь, ему подарков; ведь матери отадут все, что только есть у них, только не губи детей!.. Не даром же привитие оспы инородцы и называют «чортовой тамгой»¹. Ну, а как только он привьет оспу, они украдкой и смывают ее холодной водой... застудят... а дети и мрут от этого. Вот, сударь, как действуют на них, при наших-то порядках, предохранительные меры, клонящиеся... к спасению их... Теперь уже инородки стали умней...

¹ Тамгой называется у инородцев печать, какую прикладывают к бумагам, вместо подписи. — рим. автора.

Как только заслышут они, что урус Т-в едет к ним с оспой, сейчас заберут детей да и бегут с ними в горы, да там и скрываются... в ущельях да дощинах, пока мест он не уедет, чтоб избегнуть... чортовой тамги на детях, а главное поборов...

— А что же окружной врач смотрит?.. Неужели он не знает ничего об этом?

— Не могу, сударь, судить... Да что ж... не Т-в, так другой кто, не другой — так третий... не одним манером, так другим, каким поновей, а все будут обирать. порядок-то все один ведь...

— А сами инородцы разве не жалуются на подобные действия?

— И-и избави господи!.. Они от чиновников-то, как от огня бегают, сударь! Они и уголовные-то преступления, какие совершаются между ними в горах, скрывают от правосудия... Чиновник, говорит, наедет, бе-е-еда будет: и виноватых, и правых оберет!.. Да вот, сударь, для примера... расскажу вам недавний случай. До заседателя С-го в Б—м округе дошло известие, что один купец купил у инородца на несколько тысяч скота... и расплатился за него фальшивыми ассигнациями... С-ий, чтоб раскрыть это преступление по горячими следам, тотчас же поскакал в аил... застал там обманутого инородца и говорит ему: так и так-де, купец этот обманул тебя, отдал фальшивые деньги, разорил тебя... Давай эти деньги мне: мы, говорит, дело заведем, будем судить его, а тебе, говорит, возвратим весь твой скот или прикажем отдать настоящие деньги за него. «Не дам, — говорит инородец; — худая ли деньги, хорошая ли деньги, а все-таки она при мне будет, у сердца, а отдан коли тебе, так ты и хорошую деньги худой назовешь, да в свой карман положишь и разоришь меня!» Так и не отдал. Побился, побился около него заседатель, да с тем и уехал... Обруслые инородцы, которые живут в крестьянских деревнях или, как наш улус, поблизости около деревень, ну те уж иной статьи люди, — с иронией произнес он, — обнатурелись... во многом уж и крестьян перегнали.

— В чем же например?

К слову сказать, в разорении тех же черневых татар, своих родичей! Далеко за примером и ходить не-

чего, сударь... Первый теперича Назар Степаныч: ведь это истинная пагуба инородцев, сударь. У него все черневые инородцы в неоплатном долгу. Он им задает хлеб, порох, свинец для охоты на зверя, денег для уплаты ясака, и инородцы ни у кого другого не смеют брать хлеба, как только у него. Боже сохрани, если Назар Степаныч узнает, что какой-нибудь чернёвой инородец взял у крестьян хлеб по более дешевой цене, чем он ставит им в счет. Назар Степаныч сейчас же поедет в тайгу, сударь, и отберет все, что только есть у инородца, за долги, а там он хоть умирай с семьей с голода, — ему и дела нет. Боятся его инородцы, как огня: только засыпят они, что Назар Степаныч в тайгу едет, так дорогу для него правят, как для владыки какого... в землю кланяются ему при встрече! Чего только Назар увидит у инородца в юрте, чего ему понравилось, — сейчас тот и дарит ему вещь, а то беда, если не почишь его... Ведь все инородцы, от малого и до большого, убеждены, что Назар Степаныч — всемогущий человек, что Назара Степаныча сам белый царь знает. Потеха, сударь, если показать, какая комедия тут была, когда Назару Степановичу золотую медаль на шею за построенную им церковь прислали. Он сейчас дал знать по всем айлам в Чернь, чтобы инородцы ехали к нему глядеть на царский облик... и целовать его.

— Что же, и с'ехались? — прервал я.

— С'ехались, и ради этой оказии не с пустыми руками, а с подарками. И устроил Назар такую церемонию: взял из церкви аналой, перенес к себе в дом и положил на него медаль, и каждый инородец, прежде чем посмотреть на царский облик и приложитьсь к нему, подходил к аналою и кланялся в землю, а Назар в шелковом халате стоит у аналоя, важный такой, и спрашивает: «Видите теперь, как царь чтит меня, а-а?»

— Видим, говорят, бачка ты наш, Назар Степаныч, видим.

— То-то же, — говорит, — знайте!. Там царь, а здесь я заместо его. Чтите и вы меня, а то ху-у-удо будет вам... Меня и чиновники, говорит; все чтят и боятся... Я все могу сделать... Мне только, говорит, письмо царю отписать, и все будет по-моему... И чтят его,

сударь, инородцы... А пользуясь этим, он и обирает их. И никто, ничем инородцев не убедит, что все это вранье Назарки, что он их обманывает; а особенно теперь, когда они увидели, что царь прислал ему портрет своей весь из золота... Поверите-ли, сударь, Назар плетями сечет провинившихся перед ним инородцев, и те молчат... Ведь если какая тяжба случится между инородцами, они идут с просьбой разобрать их не к чиновникам, а к Назару Степанычу; он и судит их... и чего уже скажет им, так то и делается. Случится какое-нибудь уголовное преступление в тайге, которое нельзя скрыть, то виновники сейчас идут к Назару Степанычу просить защиты его, и, конечно, дарят ему за заступничество, чего он только запросит с них. А он уже едет к чиновникам ходатайствовать за них. О чем бы ни попросил Назар чиновников, особенно, бывало, при прежнем исправнике Канаеве, так уж для него все сделают, а это еще более поддерживало и поддерживает в инородцах убеждение о могуществе Назара Степаныча. Ведь он, сударь, если раскрыть теперича перед вами всю правду, и церковь-то построил на деньги, собранные с инородцев, а перед начальством выдал, что построил ее на свое иждивение.

— Как же это так?.. — спросил я, заинтересованный этим неожиданным открытием, так как ранее, бывши в городе К... е, слышал похвальные отзывы об усердном желании Назара Степаныча распространять среди инородцев православие.

— Очень просто!.. — с иронией ответил Никита Васильевич. — На инородцах с давних еще времен накопилась недоимка ясака, что-то на весьма значительную сумму, и они давно хлопочут о прощении им этой недоимки. Назар Степанович, не будь промах — смекни это дело, да и подведи им штуку: давай сбирать с них деньги на постройку православного храма (это с язычников-то!) для того-де, что как царь узнает, что они хотят другой веры, а чтят его бога, он и простит им эту недоимку. А ведь инородцы, как я и доложил вам, настоящие дети, простодушные, доверчивые, и поверили ему. Да и как не поверить Назару Степанычу? Собрали они деньги: другой из них, может быть, занял да последний грош отдал ему. Построил Назар

храм, получил за него медаль и теперь все уверяет инородцев, что уж начальство обещало ему просить царя о прощении им недоимки, в виду их почтения к русскому богу! Дождется, конечно, какого-нибудь всемилостивейшего манифеста, коим сложат с инородцев эту недоимку, и скажет им, что все это сделано по его ходатайству!

В это время дверь скрипнула, и в комнату вошел крестьянин, одетый в тощий суконный халат, опоясанный пестрым кушаком. Волосы на голове и бороде его были с густой проседью, хотя, судя по наружности, дышавшей силой и здоровьем, ему можно было дать не более сорока лет. Заслышав скрип двери, Никита Васильевич умолк, поднялся со стула и, взглянув на вошедшего, слегка откашлялся в ладонь левой руки и отошел в угол. Помолившись на икону, вошедший поклонился нам, затем протянул руку Никите Васильевичу и пожал ее.

— Не обессудь уж, батюшка, што бесцокою тёбя! — обратился он ко мне, кланяясь: — засыпал, что твоя милость приехала сюда, сел на вершину, чтоб не терять время захватить тебя здесь, да надокучить с просыбицей!

— Ты крестьянин? — спросил я.

— Крестьяне будем, недалечко здесь живем, в Атамановой... Атамановой деревня-то наша пишется, — пояснил он, погладив свою бороду и усы. — Разоряют нас, кормилец, вот и приехал докучать тебе! — с горечью в голосе произнес он. — А-а-ах, говорю, а? Выручишь собаку из нужи, да за ней же и гоняйся потом с палкой! Ну, не грех ли, а? Опутал меня ведь Абышка-то, обнатурил, как есть, и глаз теперича не кажет, — сказал он, обратившись к Никите Васильевичу. — Ну, не собака ли, а? — спросил он, снова обратившись ко мне.

— Кто же это? — спросил я.

— Абышка! — ответил он, предполагая, вероятно, что нанесшего обиду Абышку должен знать весь свет. — Как, бишь, он пишется-то, Микита Васильич?

— Абыш Санасаров! — ответил тот, не глядя на него.

— Ну, ну эта самая! точно! Виши память-то у меня...

Да как ты, говорю, и не спутаешься с этими анафемами... А-ах, ты, боже мой! Н-ну... — заключил он, качая головой; — и тот непутный человек, кто и веру дает екой собаке! Выручи, кормилиц, дай суда! — снова произнес он, кланяясь мне. — Что ты теперича будешь делать, коли не твоя в том воля, а?

— Из какой же беды тебя выручить? — спросил я.

— А перво-на-перво, милостивец, возьми ты меня за энти самые космы да выволочи! — говорил он, указав на свою седеющую голову. — До измѣ-о-ору выволочи и приговаривай: «вот, мол, тебе, Митрофан Сысоев, за то, что седой волос у тебя растет, а ума не несет». И хорошо это будет!

Никита Васильевич при этом оригинальном предложении просителя, Митрофана Сысоева, улыбнулся и, откашлявшись, стоял, понурив глаза в землю.

— Чем же это хорошо будет?

— Надко! Будет память! Уж в другорядь, коли опосля этого юкая собака ко мне придет да будет в ногах ползать: «дай-де хлеба, спаси меня от голода», так уж знать будем, чем и угостить.

— Чем же?

— А взашей надавать! Вот, мол, возьми-ка, перекуси и слезьми запей! Вот на какой пример надуть нашему брату выволочку давать! Спроси теперича у меня, сколько моего добра пропало за этими собаками?

— Растолкуй мне прежде, за какими собаками? — прервал я его.

— За чёрневыми татарами! Собаки, так собаки есть, — одно им и званье! Вот хоть Абышку возьми: прибег ко мне ноне зимой: — «Митрофан», говорит, «такой-сякой, — бе-е-еда! Дохнуть», говорит, «только с голоду надуть, вот какая беда! Дай мне хлеба четыре пудовки!» В ногах ползал, сулил, братец ты мой, всю душу отдать, только не дай ему умереть! А на вот, поди: подошло к расплате, и глаз не кажет, а!

— Что же, ты дал ему хлеба?

— Своими руками мерял! Как ты не дашь ему, коли оно вот, того и гляди, на твоих глазах сдохнет!

— Чем же он обещал тебе заплатить долг: деньгами или хлебом?

— Захотел деньгами взять с него или хлебом! Где

он денег-то возьмет или хлеба-то? Под одно мы даем
мнему брату: приди, отробь долг в рабочую пору,
отожни!..

— Он обещал отжать?

Плакал... икону что-ись потом целовал!

— Он крещеный?

— Пес его знает, какой он веры-то! Одна, говорит, коли худо сделал, то твой ли шайтан, мой ли шайтан, а уж башку снесет! Ну, и верил ему! Крещен он, Миткита Васильевич, аль нет? Ты ведь всех их знаешь! — спросил он, обратившись к Еремину.

— Нет, — улыбаясь, ответил он.

— Собака, так оно и есть! — заключил Сысоев.

— Как же он икону-то целовал, если не крещеный?

— Что-ж? Святителя-то, поди, не убыло от этого!

Лезет коли целовать его, так не драться же с ним! — ответил Сысоев, как-то оторопело посмотрев на меня своими маленькими серыми глазками. — А вот теперь, как подошло время жнитвы, и ищи его... Побежал но-не в аил к ним, — нету его! Спрашиваю: где Абышка? — Убег! говорят. — Куда? спрашиваю. — В Чернь: дело, говорят, такое, неминучее подошло! Вот ищи их, собак, и верь им, а-а? Ну, разве не надоть выволочь нашего брата, чтоб напредки умней быть, а-а? — спросил он, взглянув на меня с каким-то строго-комичным выражением в лице.

— Чего же ты теперь от меня хочешь? — спросил я.

— Рассуди меня с Абышкой, сделай милость, кормилец! Понудь его отробить долг! Ведь это что-ж, раззор опосля этого! Кормишь, кормишь их, собак, за зиму, обещаются отробить тебе, а жнитва подойдет — и в бег! А-а-ах, ты, собака этакая, а-а? Ну, придет он только ко мне ноне зимой за хлебом! Я-те накормлю, за-а-а-кусишь ты у меня! — с дрожью в голосе протянул он: — за-а-а-кусишь! Будь милостивец, пошли ты за ним, да приструни его, — тебя-то он побоится! Ты — чиновник, а чиновников-то они, собаки... э-э-э... только дух их заслыщут, так что от волка — хвосты подожмут! Стра-а-асть им чиновник-то! Чиновников-то они более своего шайтана боятся, ей-богу! Обрадуй меня, сделай милость, рассуди...

Я заказал Еремину вытребовать к следующему утру,

для разбирательства дела, Абыша Санасарова и Митрофана. Сысоев, довольный этим распоряжением, низко поклонилъ мнѣ и вышёл. По уходе его Никита Васильевич откашлялся в руку и, обведя меня ~~— своими~~ смеющимися глазами, произнес:

— Много вам, сударь, будет завтра занятия.

— Какого?

— За ночь-то, посмотрите, сколько наедет сюда крестьян и инородцев для разбирательства у вас по разным ихним делам! Теперь уж по всем деревням и айлам несется весть, что вы пожаловали сюда. И теперь уж, поди, едут разные просители докучать вам.

— А как вы думаете, Никита Висильевич, — вы хорошо знакомы с здешними нравами, — кто прав: крестьянин ли Сысоев, или инородец Санасаров? — спросил я, желая выведать, какими экономическими расчетами руководятся крестьяне, давая инородцам хлеб с обязательством отработать свой долг.

— Трудно, сударь, сказать! — ответил он, немного подумав. — Оно известно, если по правде теперича судить, то крестьянин прав, потому хлеб он давал Абышу за то, чтоб Абыш отработал у него за четыре пудовки четыре дня, и тот согласился. А если теперича по совести взять, так не Абыш Сысоева разоряет этим, а Сысоев Абыша.

— Объясните мне, почему это?

— Да так, сударь, доложить вам надоть: по нашим местам в самую неурожайную пору пудовка-то рожаного хлеба пятнадцать копеек стоит, и уж небывалая цена ей двадцать копеек. Стало быть, четыре-то пудовки всего на все, если по двадцати копеек положить пудовку, — восемь гривен стоят! Самые плевые деньги, а ведь он заставил за них работать Абышку четыре дня в самую дорогую рабочую пору, в жнитво, когда здесь рабочего-то за пять, за шесть рублей в сутки не найдешь! Вот и посчитайте: если по пяти рублей в сутки положить, так он работнику-то должен бы двадцать рублей выложить, а тут он за восемь гривен заставляет его работать. Оно и расчет для них задавать голодным-то инородцам хлеба.

— Отчего же здесь так дорога заработка плата в это время?

— Очень просто, сударь. Ведь здесь земли-то — бери не хочу. Зажиточные-то мужики здесь по скользку запахивают! Глазом не окинешь! Всякий из них норовит, как бы побольше нахватать! Жнитво-то подойдет, так им со своими-то семьями и в две, в три недели не управиться с жнитвом. А хлеб-то рдеет, осыпается! Всякому время дорого, всякому до своего дела забота; другой из них рад-радехонек за день-то десять рублей дать, да и за эту плату никого не найдешь в иное время. А вот он задаст как хлеба инородцам и тянет их — иди отрабатывай! Инородцы-то им в ино время деньги, сударь, за хлеб привозят, по рублю, по два за пудовку отдают! Так мужики-то не берут с них денег-то, не-е-ет! Иди, работай, говорят! А тем тоже свой расчет: они лучше рубль или два отдадут им за пудовку, что стоит пятнадцать копеек, да пойдут наймутся в дорогое-то время в работу, так по пяти рублей в сутки возьмут! Вот и судите, кто кого разоряет! — заключил он, вздохнув.

В комнате совершенно стемнело, когда Никита Васильевич, отговорившись необходимостью присмотреть еще за скотиной, вышел от меня, пожелав мне спокойной ночи. Я раскрыл по уходе его окно. В воздухе было тихо, знайный летний день сменила резкая ночная свежесть, какая чувствуется только в горах. На горизонте медленно выплывала луна, и бледные лучи ее тонули в синеве, окутавшей окрестные горы своей прозрачной пеленой.. Я с жадностью вдыхал в себя свежий живительный воздух, напоенный ароматами смолистых деревьев и душистых альпийских трав. В ночной тиши до меня отчетливо доносилось бурливое клокотанье Кандалепа, рывшегося в своих высоких, неприступных берегах. Я прислушивался к гулу волн его, и мне чудились в нем стон и подавленные рыдания. Под влиянием всего слышанного мною, в уме невольно пробежала мысль — не плачет ли это Кандалеп о жалкой участи этих чудных, поражающих своим величием гор, превратившихся теперь в арену всевозможных эксплоатаций. И мне стало больно за это добродушное, безжалостно разоряемое и постепенно вымирающее племя.

Вершины Алтая, покрытые вечным снегом и льдами, издалека поражающие путника своею дико-величавою красотою, местные жители называют «чернь». Слово «чернь» означает дремучий, непроходимый лес, состоящий из пихт и кедров, покрывающий горы. Потому и племена инородцев, населяющие чернь, называются у местных жителей черневыми татарами. Сами черневые татары также называют себя «Ииш-кижи», что значит черневые люди, жители чернолесья. Отсутствие у этого племени тюркских родов и употребление особого общего имени Ииш-кижи послужило поводом, при исследовании происхождения этого племени, считать его за финское племя, которое, будучи окружено со всех сторон теленгутами, населяющими плоскогорья южной части русского Алтая, усвоило себе их язык, религию, нравы и обычай. В официальных русских бумагах кочевые пастушеские племена, называющие себя телегутами, именовались «калмыками». До половины прошлого столетия теленгуты находились в зависимости от джунгарского хана, как и черневые татары, и платили одновременно «ялман», т.-е. ясак, и русскому правительству, и джунгарскому хану, почему и назывались еще «двоеданцами», и в простонародье за ними сохранилось это название до настоящего времени. Но в половине прошлого столетия, во время междоусобий в джунгарском ханстве, кончившихся покорением Джунгарии китайцами, когда китайские войска появились в Алтае, в кочевьях теленгутов, последние стали искать защиты России, обратившись с письмом за подписью двенадцати зайсанов к Бийскому коменданту, и в 1756 году, с разрешения русского начальства, спустились с женами, детьми и скотом на колыванскую линию.¹

В это смутное время Алтай долго был опустошаен набегами монголов и киргиз, разорявших кочевавшие в нем племена. Не мало страдали эти племена и от

¹ Исторические сведения и многие бытовые черты, приведенные в настоящем очерке, извлечены из прекрасного по своей языковой труда г. Григория Николаевича Потанина «Материалы для истории Сибири», также из составленного им вместе с г. П. П. Семёновым IV тома «Землеведение Азии», служащего продолжением труда Карла Риттера, составленного на основании уже материалов, обнародованных с 1832 года. — Прим. автора.

междоусобной вражды, нередко превращавшейся в личный разбой, и от осypy, губительно опустошающей их кочевья. Всего лучше характеризует это скорбное для теленгутов время сложенная ими песня, которую и теперь еще поют они:

«С высоты если смотреть, треуголен ты, царь Алтай!
Как посмотреть сбоку, девятиуголен ты, царь Алтай!
По скату гор если смотреть, как плеть хребет твой,
царь Алтай! По осеннему жилищу своему, как бурое
сукно разостлся ты, царь Алтай! Жалко тебя, сер-
дечный ты мой Алтай! Много крови пролилось в тебе!..
Пропадай ты, сосна с мерзлыми сучьями, не доживай
до такого разорения!.. Величия полный мой Алтай, горе
тебе от такого опустошения!.. Пропадай ты, сосна
с сухими ветвями, если будут тебя еще обламывать!..
Хорошо ты был устроен, мой Алтай!.. Горе тебе от та-
кого опустошения!»¹

Много лет прошло с тех пор, как дикий бард сложил эту песню, выражавшую такую жгучую тоску об опустошении и разорении хорошо устроенной жизни в горах Алтая, полных царственного величия, а между тем эта песня и теперь применима к нему. История этих племен, их жизнь, нравы и обычаи до сих пор остаются мало исследованными. Только в недавнее время, благодаря настоюнию людей, живо интересующихся этим предметом, и особенно Н. М. Ядринцева, труды которого по исследованию Сибири составляют такое веское явление в литературе, к сожалению, до настоящего времени еще неоцененное до достоинству, сибирское отделение Императорского географического общества пришло к заключению о необходимости всестороннего изучения жизни инородцев, которое, по всей вероятности, в непродолжительном будущем вызовет меры к ограждению интересов этих племен и к устройству их плачевного быта на более рациональных началах.

¹ Огромную заслугу по изучению быта алтайских инородцев составляют исследования миссионера о. Вербицкого. Приведенная песня переведена им и помещена в «Прав. обозр.» 1868 г., в ст. «Записки миссионера.» — *Прим. автора.*

Теленгуты; находящиеся в русском подданстве, разделяются на дючины, которых считается 75, и кроме того еще делятся на 24 поколения. Теленгуты, принадлежащие к одному поколению, считаются родственниками и называют себя братьями, и люди одного племени не могут жениться на женщинах своего племени. Все поколения их говорят одним и тем же татарским языком, исповедуют одну и ту же шаманскую веру и управляются зайсанами. Каждая дючина имеет своего зайсана, достоинство которого наследственно, хотя каждый зайсан должен быть утвержден в своем звании народом и русским начальством. Зайсаны обязаны собирать с своих дючин ясак, по рублю с мужчины, и сверх того по три рубля с каждого семейства, хотя женщины и дети считаются свободными от податей. Ясак собирается с них шкурами лисиц, соболей, белок и куниц. Только тяжкие преступления, убийство и грабеж, судятся у теленгутов по русским законам, остальные дела и тяжбы решаются или зайсанами, или народным собранием, ежегодно составляющимся для этой цели. Все богатство этих племен заключается в скоте, почему и кочевья их расположены большою частью по долинам рек, представляющих обильные пастбища. В былое время в среде теленгутов можно было встретить владельцев шести и более тысяч голов рогатого скота. Люди, имевшие пятьдесят или сто лошадей, считались у них бедняками; но это богатство теленгутов перешло теперь в руки местных русских купцов, эксплуатация которых беспримерна по своим примерам. Обеднение теленгутов, по словам путешественника Радлова, идет так быстро, что он в последнее свое путешествие не узнавал местностей, которые посещал в 1860 г. Скота нигде не было видно. Даже прекрасная Урусульская долина, славящаяся своими пастбищами и богатством ее обитателей, была пуста; если же где попадался скот, то на вопрос его: чей скот? он получал в ответ: «жоймным-малы!» т.-е. купеческий скот. Купцы покупают у теленгутов молодой скот, оставляют его у инородцев и берут тогда, когда он подрастет, т.-е. по истечении 3-4 лет. Все выгоды подобной торговли, конечно, на стороне купцов, потому что весь ущерб в скоте, который случится за это вре-

мя, возмещается ими на хранителе скота, бывшем его хозяине, обязанном безвозмездно пасти его и охранять от всяких случайностей. Как быстро составляются купцами капиталы в Алтае, мы приведем, со слов того же путешественника Радлова, следующий пример: за 50 кирпичей чаю купец покупает в Алтае пару маральных рогов; на деньги они обойдутся ему в 75 р. с. Затем, эти рога он продает на реке Чуе уже за 100 кирпичей чаю, что равняется 150 руб. с. На эти деньги он снова покупает в Алтае 80 годовалых телят, которых оставляет у продавца для безвозмездной пастбибы, и по истечении трех лет получает от него 80 штук взрослых скотин, которые, считая средним числом по 10 руб. за голову, составляют капитал в 800 руб. с. Все злоупотребления купцов в торговле с теленгутами оставались и остаются без преследования. Задавая им вперед гнилой, гршковый товар, купцы берут за него неимоверные проценты; проценты эти удваиваются и утраиваются, если долг не выплачивается им в срок; можно сказать без преувеличения: если на подобный порядок вещей не будет обращено должного внимания, зло не будет пресечено в корне, то простодушный, доверчивый народ этот, постепенно беднея, будет вымирать, вымирать буквально от голода. Теленгуты в настоящее время обременены такими неплатными долгами, погасить которые мало десятков лет; а между тем, за долги эти давно уже уплачены ими суммы в десять, если не в двадцать, раз больше.

Для обращения теленгутов в православие в 1828 году основана духовная алтайская миссия, трудами которой обращено доныне в христианство до 4.000 человек, воздвигнуто 11 церквей, устроено 10 школ, переведено на теленгутский язык евангелие, несколько богослужебных книг, много молитв и церковных песен. Успехи миссии нельзя назвать значительными. Теленгуты смотрят на миссию, как на вредное учреждение и удаляются от нее в глубь гор, потому что считают принятие православия равносильным потере национальности. Теленгуты, бегущие от миссии в горы, беднеют день ото дня; одинаково беднеют и те из них, которые, приняв православие, поселяются на жительство около миссии. Отчего происходит это явление и где,

и в чем искать целебного средства против него, — ответы на это дадут только добросовестные и всесторонние исследования быта теленгутов и искоренение эксплоатации, тяготеющей над ними во всех видах.

Теленгуты, как и черневые татары, исповедуют шаманскую веру. Они признают два начала: доброе «Ульген» и злое «Ерлик», или «Шайтан». Кроме того они поклоняются горам, солнцу, луне, небу и часть от каждой жертвы посвящают огню. Их вероучители шаманы, или «камы», так обясняют свою религию: камлания их есть только молитва перед богом, все создавшим, а жертва — знак смирения и преданности ему. призывающие же ими духи есть только посредники перед богом, сообщающие людям волю верховного существа. Как теленгуты, так и черневые татары глубоко веруют в чудодейственную силу камлания своих камов. Всякое несчастье, разразившееся над семьей: падеж скота, голод, болезнь или смерть члена семьи и т. п. — побуждает теленгута обращаться к каму, чтобы он узнал волю этого духа, шайтана, от которого происходят всякое горе и беда на земле, и какою жертвою можно смягчить гнев его. По описаниям путешественников и рассказам очевидцев, людей уже свободных от всяких предрассудков, камлание шаманов, особенно при той обстановке, при какой совершается, наводит невольный ужас. Какое же потрясающее действие должно производить оно на впечатительный ум суеверного дикаря! В глубокую ночь, в каком-нибудь узком ущельи среди скал, вершины которых теряются далеко в небе, а под уступами и расселинам их лепятся вековые пихты, сосны и кедры, разводится огромный костер, озаряющий багровым отблеском скалы и корни деревьев и рисующий на них чудовищные образы. В глубоко благоговейном молчании сидят вокруг него верующие, с трепетом глядя на кама, который с бубном в руках, одетый в фантастический костюм, скакет и кружится с неимоверною быстротою около костра, призывая своими дикими зарываниями, под аккомпанемент бубна, злого духа. Расширившиеся глаза его сверкают лихорадочным блеском, бледное лицо искается судорогами, и он, не владея собою, скакет и кружится с пеной у рта до тех пор,

пока, обессилен, не впадает в бессознательное состояние... Вылетающие в это время из уст его слова считаются выражением воли вселившегося в него духа. Шаманы, или камы передают свое искусство по наследству старшему сыну или старшей дочери. Теленгуты и черневые татары тщательно скрывают своих камов, охраняя их от преследования православного духовенства и властей; нужно возбудить в них большое доверие, чтоб они открыли, кто у них кам, и особенно допустили быть зрителем его камления. По указанию кама, для умилостивления божества принесутся в жертву домашние животные, мясо и внутренности которых съедаются, а шкуры развешиваются и служат как бы указанием совершившегося тут религиозного действия. Кроме того у теленгутов, у каждого племени и даже семьи, есть свои особо чтимые фетиши. Иногда эти фетиши изображают заячья шкурка, перевитая какою-нибудь тряпочкой. Фетиши эти всегда занимают передний угол в их жилищах.

Свадебные обряды теленгутов и обряды погребения крайне просты. Отец жениха и отец невесты условливаются о количестве «калым», уплачиваемого женихом, и молодые считаются с этого дня обрученными. По уплате калыма устраивается свадьба. Отец жениха строит сыну юрту и отдает часть имущества; затем жених отправляется к юрте отца невесты, встречается с ее родителями и родственниками, при чем его угождают водкой. Отец жениха произносит благословение молодой чете, которое дышит, — как говорят люди, знакомые с их языком, — иногда высоко-поэтической прелестью, и подносит молодым чашу вина, чем и оканчивается обряд венчания, после чего следует продолжительное пиршество. Споры о наследствах редки между теленгутами: члены семьи никогда не делят между собою скота и имущества, а владеют им сообща. Если старший сын получил отдельную юрту и часть имущества, то остальное имущество по смерти отца получает младший сын, обязанный корытить за то свою мать и сестер; при выдаче замуж последних он получает и калым за них.

Мертвых теленгуты хоронят в могилах богато одетыми, при чем закалывают иногда лошадей и погре-

бают с ними. Заупокойные пиршества бывают также весьма продолжительны; по окончании их кам очищает юрту покойного, после чего семейство умершего перекочевывает на другое место. У некрещеных татар, кочующих по реке Кондоме, тела умерших не закапывают в землю, а завертывают в бересту и вешают на дерево в самом глухом лесу, или кладут на деревянные срубы и иногда сжигают. Мертвые при этом снабжаются трубкою и обильным запасом табаку, а также ячменною мукой в мешочек.

Однообразно и печально проходит жизнь теленгута в юрте, покрытой войлоком и берестой или выстроенной из бревен, о восьми и четырех углах, сходящейся пирамидально кверху, к дымовому отверстию. По средине юрты обыкновенно разводится огонь, над которым стоит треногий железный таган, к коему привешивается котел для приготовления пищи. Несколько войлоков и подушек, набитых шерстью, заменяют матрацы. Иногда эти матрацы прикрываются звериными шкурами. Котел, берестяная посуда, кожаные мешки, — вот вся домашняя утварь теленгута. Костюм мужчин и женщин почти одинаков: дабовая рубаха на теле, которая не снимается до тех пор, пока не истлевет. У мужчин короткие шаровары и высокие сапоги из дубленой кожи. Дети обоего пола до десяти и двенадцати лет ходят нагие. Летом сверх рубах мужчины носят куртки, «чаймек», и длинные кафтаны; зимою — нагольные шубы из конских, овечьих или хорьковых шкур. Женщины также носят сверх рубашки кафтан, с легкой накидкой с прорехами вместо рукавов, называемой «чадек». Чадеки носят только замужние женщины, девицы носят шубы, на боку которых навешиваются ключи, бубенчики, раковины и т. п. украшения. Мужчины и женщины носят на голове одинаковую треугольную, заостренную кверху мерлушатую шапку, покрываемую желтой материей, с красным лоскутом посередине. У мужчин и даже у детей бреют на голове волосы, оставляя растительность на темени длинную косу, которую заплетают. Женщины волос на голове не бреют, а заплетают их во множество косичек. У девушек до 12-ти лет бреют только переднюю часть головы, заплется сзади волосы в косички. Старые девушки отпуска-

зот волосы спереди, оставляя их не заплетенными. Тип теленгутов совершенно монгольский: сдавленный лоб, узкие в раскос глаза, выдавшиеся скулы, широкий сплюснутый нос, вздутые губы и редкая борода. Среди женщин трудно встретить красивое лицо, и они быстро стареют, может быть, вследствие труда, который исключительно лежит на них. Теленгути крайне нечистоплотный народ; они никогда не только не моются, но даже не умываются в том убеждении, что это вредно и приносит несчастье. Пища теленгутов состоит исключительно из молока во всех его видах. Ячменная, молочная, жидккая каша — их ежедневное любимое блюдо. Конина — любимое мясо, употребляемое ими в пищу. Все они курят, как мужчины, так и женщины. Некоторые из них сами сеют табак, другие покупают от русских, так как жители Бийского и Кузнецкого округов занимаются производством табака; многие покупают его от китайцев. От последних они исключительно приобретают и трубки. Женщины у теленгутов исполняют все домашние работы: доят коров и коз, варят обед, шьют белье и платье. Мужчины же только едят, пьют, курят и спят. Надзор за скотом у них не требует особенного труда: конокрадства не существует между ними, и скот, благодаря мелким снеткам, всегда находится на подножном корме. Единственное ремесло, знакомое теленгутам, — это кузнечное, да и тем занимаются немногие из них. Все теленгути, как мужчины, так и женщины, превосходные наездники; их привычные лошади смело скачут по таким узким и скользким тропинкам на скалах, висящих над пропастями, что при взгляде на них европейские путешественники приходят в ужас и решаются ехать по ним не иначе как привязанными к лошадям, во избежание головокружения и падения в пропасть; теленгути же не только не правят лошадьми и не держатся за повод, а даже, сидя на них, дремлют или спят. Они также отличные стрелки, не теряющие ни одного выстрела даром. Свои меткие ружья они обделывают сами, покупая старые солдатские, отбивая от них казенную часть и приделывая к ним фитили. Зимою мужчины отправляются обыкновенно на звериный промысел, и каждый охотник убивает в день не менее сорока бе-

лок. Соболей и сурков они выслеживают с собаками в их норах. Опутав поверхность норы сетью, они выкуривают этих животных из нор, и потом, когда те запутываются в сеть, при выходе из норы, бьют их палками. Кроме того, они бьют зимою медведя и козуль, а весной маралов, рога которых особенно дорого ценятся в торговле.

Мало различия сравнительно с жизнью теленгутов встречается и в жизни черневых татар. В тех же юртах, покрытых берестой или войлоком или выстроенных из бревен, они укрываются от осенних непогод и зимних вьюг. Одежда их также в большинстве случаев ничем не отличается от одежды теленгутов; только в последнее время черневые татары, имеющие частые сношения с русскими, стали одеваться так же, как и русские крестьяне, а некоторые в сюртуки, пальто и пиджаки. Пищу черневых татар составляет также молоко, поджаренный ячмень, каша и пшеничные лепешки, выпекаемые в золе. Черневые татары приготовляют еще из кобыльего молока кумыс, но не пьют его, а гонят из него водку «сайрак». Пьянство — самый злейший порок, разъедающий последнее благосостояние черневых татар. Многие из них занимаются уже земледелием и сеют главным образом ячмень; но земледелие их слабо: в расщелинах утесов и в ложбинах, где только есть земля, они вскапывают ее мотыгой и бросают во вскопанные места зерно. Скотоводство их также бедно. Главное занятие их звероловство, и для того, чтобы не стеснять при охоте друг друга и иметь более пространства для этого промысла, они не скучиваются в большие селения. Две-три юрты, принадлежащие членам одного семейства, составляют «аил». Если же несколько таких аилов стоят вблизи друг друга, то подобное селение называется «улус». Одно из прибыльных занятий черневых татар составляет отыскивание в лесу меда и воска одичавших пчел, которых они называют «чел». У крестьян Бийского и Кузнецкого округов Томской губернии пчеловодство составляет один из благодарных промыслов, и часто случается, что пчелы весною, во время роения, улетают в леса, покрывающие горы Алтая, дичаю^т там и накапливают в дуплах деревьев нередко по нескольку

десятков пудов меду и воску. Найдя мед и воск диких пчел, татары продают их за баснословно дешевые цены купцам и крестьянам. Ниже мы увидим, к каким иногда хитростям прибегают крестьяне, для того, чтобы обмануть этих добродушных детей лесов и гор и бесплатно отобрать у них найденную ими добычу. Вследствие недостаточно развитого хлебопашства черневые татары, как и теленгуты, постоянно нуждаются в хлебе, и случаи голодной смерти среди них встречаются постоянно даже в самые урожайные на хлеб годы; поэтому вопиющая нужда их в хлебе и служит постоянным источником эксплоатации. За немением хлеба, татары заготавливают и употребляют в пищу корни растения, называемого «кандык» (*Erythronium dens conis*); корень этот они сушат и нанизывают на нитку. Корень кандыка белого цвета, не более вершка длины, и сваренный в молоке имеет весьма приятный, сладкий вкус. Из этого же корня татары приготовляют и опьяняющий напиток «абыртку». Некоторые из черневых татар и сами занимаются пчеловодством, и оно могло бы спасти их от вопиющей нужды при выгодном сбыте продуктов, но купцы и богатые крестьяне, пользуясь их страстью к вину, спаивают их и покупают за бутылку кабачной водки не только ульи пчел, но и лошадь. До чего велика страсть черневых татар к вину, может характеризовать следующее явление: услышав, что у кого-нибудь из татар есть водка или даже абыртка из кандыка, татары семьями, с женами и детьми, едут верхами по самым дурным дорогам за 80, за 100 верст к жилью подобного счастливца; нередко везут с собою муку для приготовления артельной водки, и пьянствуют до тех пор, пока остается хоть капля вина.

Не менее средств к жизни могли бы давать черневым татарам богатые кедровые леса, где одно дерево дает иногда до тридцати фунтов ореха. Но промысел этот служит одной из причин не обогащения их, как бы следовало ожидать, а обеднения. Купцы, захватив его в свои руки, задают татарам в кредит товъар, с условием на каждый рубль ассигнациями доставить пуд ореха; в случае же неурожая ореха, за каждый, не доставленный по условию, пуд ореха татары обя-

заны платить деньгами или ценностями шкурками 2 рубля серебром.

Черневые татары, так же как и теленгуты, разделяются на племена или роды, находящиеся под управлением башлыков, звание которых, как, и зайсанов, наследственно, но должно быть утверждено избранием народа и начальством. Официально черневые татары делятся на волости, и при башлыках находятся волостные писаря, которые ведут делопроизводство. Башлыки собирают со своих волостей ясак и сдают его в казну; они исполняют все административные требования начальства и разбирают дела и тяжбы своих родов. Собственно оседлых татар, обитающих частью в Кузнецкой степи, частью в долинах Алтая, считается 14.893 души обоего пола. Оседлые инородцы большую частью крещены. Живут они иногда большими деревнями, в домах, устройство которых такое же, как и у русских крестьян, занимаются хлебопашеством. И хозяйство, и хлебопашество у многих из них чрезвычайно обширно, что может служить несомненным доказательством способности этих племен к культуре, и к развитию между ними прочного благосостояния. Если бы были употреблены зависящие меры к ограждению их от эксплуатации со всеми ее разворачивающимися влияниями, к каким бессовестно прибегают купцы для извлечения своих выгод, то можно было бы спасти эти племена от вымирания, которое замечается теперь среди них в страшных размерах. Благоразумные меры повлекли бы за собой даже умножение этих племен в будущем. В русских деревнях и селах Кузнецкого округа часто встречается половина населения из инородцев. В ведении хлебопашства и хозяйства они ничем не разнятся от русских; дома их, особенно у зажиточных инородцев, обставлены хорошою мебелью, встречаются даже зеркала, и они отличаются чистотой и опрятностью. С крестьянами инородцы живут не только дружно, но большинство их через браки вошли с русскими в тесные родственные отношения. Платя ясак, инородцы в то же время отбывают наравне с крестьянами все их общественные повинности. Некоторые из инородцев до того обрусили, что давно забыли свой язык и обычай, и нередко встречаются среди

них экземпляры с русыми волосами, русой окладистой бородой и голубыми добродушными глазами. Крестьяне, на мнение которых в этом случае можно вполне положиться, отзываются о нравственных качествах инородцев в крайне лестных чертах. Среди этих племен не замечается свойственной азиатским народам хитрости и коварства. Напротив, отличительное качество их по общим отзывам — крайнее добродушие и доверчивость. Они ~~необыкновенно~~ честны. Инородец, десятки лет твёрдо помнит ~~какой-нибудь~~ копеечный долг и при первой возможности возвращает его кредитору, который нередко давно забыл о нем. Умирая с голоду, они и тут не прибегают к воровству. Жители улуса, уходя на поля, оставляют двери домов незапертymi, и не бывает примера, чтобы из дома пропало что-нибудь, хотя на стенах в домах висят шкурки ценных животных, иногда на десятки рублей, поставцы наполнены медной посудой, а чуланы платьем. Я сам был очевидцем подобного явления, приехав однажды в полдень, в рабочую пору, в довольно обширный улус, где единственным представителем населения его оказалась больная десятилетняя девочка, совсем почти не говорившая по-русски. С ямщиком инородцем я обошел все дома и, остановившись в одном из них, вместе с ним согрел самовар и напился чаю. Вечером, хозяин дома, возвратившись с поля, встретил меня крайне радушно и все твердил: «уж не сердись, батюшка, что никого не было в избе; спасибо, что сам похозяйничал... право спасибо тебе... молодец!»

Полового разврата не существует между ними. Если мужчина соблазнил девушку и почему-либо отказывается жениться на ней, то жители всего улуса, собравшись толпой, начинают бить соблазнителя, и бьют его до тех пор, пока он не повинится и не даст слова загладить свой поступок. Племена эти отличаются еще одною крайне замечательною нравственною чертою, подмеченной среди как кочевых, так и оседлых инородцев. У них бедняки всегда живут на счет своих богатых собратьев: Нередко весь улус в годину бедствия безвозмездно прокармливается зажигочным сощением, и это несколько не ставится ему в заслугу и ничем не обязывает в отношении к нему других. «Те-

бе дал бог, и ты должен разделить божий дар со всеми!». Вот мотив, из которого вытекает это явление.

Конечно, и среди инородцев, особенно обруселых, встречаются печальные исключения; но эти исключения пока еще весьма незначительны и при других, более благоприятных условиях быстро изчезнут. Появление их можно обяснить дурным примером, какой подают купцы и зажиточные крестьяне. Многие из обруселых инородцев наживают теперь крупные капиталы, эксплуатируя не хуже купцов племена теленгутов и черкесов татар. Ябедничество также играет у инородцев важную роль, и, смело можно сказать, оно привито к ним русским чиновничеством, поощрившим в них этот порок из корыстных видов. В пример того, как чиновничество извращало и эксплуатировало самые прекрасные бытовые черты инородцев — радущие и гостеприимство, я приведу следующий случай, бывший со мной. Приехав однажды по делам службы, в первый раз, в Тушгулепский улус, я остановился у инородца, судя по обстановке комнаты, весьма зажиточного. Едва внесли мои вещи в комнаты, ко мне вошел хозяин с подносом в руках. На подносе лежала десятирублевая ассигнация, и на ней стояла рюмка с каким-то красным вином. Я спросил у него, для чего рюмка поставлена на ассигнацию.

— А это тебе, батюшка. Прими ее от меня в подарок, за честь!.. — ответил он, кланяясь.

— За какую же честь?..

— За то, что ты пристал ко мне, посетил меня, не обошел меня своей честью, — ответил он.

Когда я отказался принять подарок «за честь», он с удивлением, робко посмотрел на меня и спросил: за что я сержусь на него? По всей вероятности, в уме его промелькнула мысль, что он мало предложил и тем оскорбил меня. Я ответил ему, что мне сердиться на него не за что, так как я первый раз еще вижу его; подарка же не принимаю потому, что считаю позорным делом брать какие бы ни было подарки, и посещение мое вовсе не приносит для него такой чести, за которую бы следовало так дорого расплачиваться.

— Ой... ой... ой... — качая головой, произнес он, выслушав меня.—Не хорошо ты делаешь, не хорошо!..

— Почему не хорошо? — спросил я, заинтересованный его укоризненным тоном.

— От чести моей отказываешься!.. Честь мою обходишь! Чести моей никто не обходил, — серьезно-обиженным тоном произнес он и перечислил мне при этом поименно длинный ряд моих предшественников и других чиновников, иереев и дажеprotoиереев, которые не обходили его чести. — Они бы осердились, брат,шибко бы осердились, если б я им чести не поднес! — заключил он, задумчиво покачивая головой.

Из разговоров с ним я узнал следующий обычай, с незапамятных времен введенный среди них чиновниками. Едва приедет чиновник, в улус и остановится на квартире, как хозяин обязан поднести ему рюмку с приложением к ней кредитной «чести». Выпив рюмку и положив поднесенную «честь» в карман, чиновник шел в соседний дом, где снова выпивал поднесенную ему рюмку и опускал в карман «честь». Таким родом он обходил весь улус, и даже нищий инородец занимал на этот случай два-три рубля и подносил приходившему к нему чиновнику.

Только честные и разумные отношения к инородцам администрации, внимание к их нуждам, беспристрастное ограждение их интересов от разворачивающихся влияний эксплоататоров, а главное — развитие среди них грамотности и доступ в Алтай свободной крестьянской колонизации, трудолюбивая жизнь которой будет служить для них благотворным примером, как это мы видим на оседлых инородцах, живущих в среде крестьян, могут улучшить их быт и положение. В противном случае, повторю еще раз, они будут постепенно вымирать и вымирать от голода, как неизбежного последствия наглых обманов и грабежа, скрывающихся под именем «торговли».



Предсказание Никиты Васильевича сбылось. На другой день, едва я проснулся и открыл окно, выходившее на площадку, заросшую травой; на которой мирно паслось стадо гусей, как до слуха моего донеслись крики и громкий говор. Выглянув в окно, чтобы узнать причину их, я увидел несколько человек крестьян и инородцев, сидевших на толстом бревне, которое ле-

жало у плетня, обносившего огород. Последних не трудно было отличить по их смуглым лицам, черным, как смоль, волосам и узеньким глазам, а главное — по жиidenьким усам и бородкам; десяток-два коротеньких черных волосков на подбородке теленгута или татарина из племени Ииш-кижи скорее служат только намеком на украшение, которым природа, щедро оделив людей других рас, почему-то признала нужным лишить теленгута и черневого татарина.

Подав чайный прибор и самовар, Никита Васильевич тотчас же сообщил, что меня давно ожидают просители, с'ехавшиеся чуть не до рассвета из различных деревень и улусов. Не желая терять времени, я велел позвать к себе Митрофана Сысоева и Абыша, который, как оказалось, явился в улус ранее посланного за ним гонца. Развязно войдя в комнату, Митрофан Сысоев усердно помолился на икону, висевшую в переднем углу, и поклонился мне, проговорив: «Ночевали здорово!.. С дорожки-то, поди, батюшко, сладко поспалось... а? — улыбаясь, спросил он. — По нашим горкам как поездишь, так так-то ли сладко укачет тебя, что рад до места!.. Обидчик-то мой сам, слышь, пришел и гонца не ждал!» — об'явил он, указав на Абыша, низенького, щедущего человека, который только-что переступил порог, как молча, униженно, начал кланяться мне, силясь изобразить при этом на лице своем приветливую улыбку. Но улыбка эта никак не выходила на его толстых, почти темновишиневых губах. Смуглое лицо его было изрезано морщинами; узенькие карие глаза слезились; черные, густые волосы, подстриженные в скобку, совершенно закрывали лоб и почти сливались с черными, густыми бровями. На нем был надет серого сукна зипун, весь в прорехах; холщевые, грязные штаны были запущены за голенища сапогов, подошвы у которых подпоролись и хлябали. Опоясан он был тонким, черным ремешком, симметрично усаженным оловянными пуговками; такими же оловянными пуговками был усеян и кожаный полукруглый мешок, прикрепленный к ремню с правой стороны. Из мешка выглядывал тоненький медный чубук от трубки.

— Как тебя зовут? — спросил я, когда Абыш, про-

должая кланяться, подошел поближе и стал рядом с Митрофаном Сысоевым, презрительно поглядывавшим на него.

— Абыш Салмакыч! — ответил он, кланяясь почти всем корпусом.,

— Это отца твоего звали Салмаком или это твое родовое прозвище? — спросил я.

— Ну... ну... Салмак, Салмак звался отец, Салмак был!.. Я из-под Миколы башлыка... может знаешь... Миколай Кульчуганыч башлык... Я из-под него!.. — обяснил он.

— Он хочет об'яснить вам, сударь, — вмешался Никита Васильевич, стоящий у дверного косяка, — что он состоит под ведением башлыка Кондомо-Елейской волости, Николая Кульчуганова.

— Ну... ну... ну... так, так! — пояснил Абыш. — Николая Кульчуганова!..

— Ты знаешь этого крестьянина? — спросил я Абыша, указав ему на Митрофана Сысоева.

— Знаю... знаю... дружбу ведем! — ответил он.

— Ну, так этот друг-то твой, Абыш Салмакыч, жалуется на тебя, что ты взял у него 4 пудовки хлеба, обещал ему за это в жнитво четыре дня отработать и не являешься к нему на работу...

— Пошто жаловаться... пошто? — начал Абыш, обратившись к Сысоеву и укоризненно качая головой. — У тебя бог и у меня бог, бог все видит... пошто напрасно жаловаться? — снова спросил он.

— Не по головке ли вашего брата гладить велишь, а? — насмешливо глядя на него, спросил Сысоев.

— Пошто, Митрофан, по головке гладить?.. Коли ты хорошо сделаешь... по головке бог будет гладить; и бить по головке бог будет, коли худо сделаешь!. Ты как меня обидел-то, а?.. Э... э... Митрофан, Митрофан... худо это, Митрофан, — говорил он, укоризненно качая головой. — Пошто я не шел жаловаться, что ты меня обидел, а?.. Пошто?.. А ты меня обидел, што я плакал, баба плакал, сарынь¹) вся плакал... все плакал!.. Вот как ты обидел меня... — горячо говорил Абыш.

¹ Крестьяне в Кузнецком и Бийском округах Томской губернии называют детей до десятилетнего возраста «сарынь». Иностранные также переняли от них это название. — Прим. автора.

— Эх... и лопотню-то твою не слушал бы, — произнес Сысоев, презрительно отвернувшись от него и сплюнув на сторону.

— Чем же он обидел тебя? — спросил я Абыша.

— Коня у меня увел, своими руками увел... нешто не обида!..

— Зачем же он коня у тебя увел, а?..

— Спроси его... живой стоит!.. — ответил Абыш, указав на Сысоева.

— Увел! — произнес неожиданно Сысоев, весь вспыхнув. — Увел!.. И дурак вот, что отдал тебе обратно его... право, дурак. Бить вот, говорю, надо нашего брата за сердоболье-то к вам! Не слушай ты его. ваша милость... мало ли чего он тебе с глупого-то разума наплется, только время волочит, а мне бы вот бежать надоть по дому теперь, дела-то не обэрешься...

Никита Васильевич при последних словах его усмехнулся и откашлялся в руку.

— Ты уводил у него лошадь? — спросил я Сысоева.

— Брал, брал... уводил... Да вот, говорю... с дурото...

— С его позволенья уводил? — прервал я.

— Пошто... с моего позволения... слушай... — загорячился Абыш. — В Чернь я бегал... Ну... прибег домой, гляжу: баба плачет... голосом плачет... сарынь вся плачет... Пошто, говорю, ты, баба, плачешь?.. Обхватила баба руками голову, говорит: Абыш Салмаыч, Митрофан, говорит, был... ругал, ругал... меня ругал... тебя ругал... да пошел, говорит, отвязал нашего коня и увел! Пошто, говорю, он коня увел?.. Не знаю!.. Бе-е-да... Схватил я свою голову руками... ну плакать!.. Всего один конь у меня, и того увел... Плакал, плакал... Побежал к нему в деревню... бегом бежал... Прибежал... Пошто, говорю, ты, Митрофан, коня увел? Отдай коня!.. Не дам, говорит... Пошто не дашь?.. Когда, говорит, отробишь муку мне, тогда, говорит, отдам тебе коня... Вот, ведь, как он зорил меня!.. Скажи, Митрофан, зорил ты меня? — спросил он, обратившись к Сысоеву.

— О-ох, господи... за грехи только с нечистью... пущай меня!.. — произнес Сысоев, глубоко вздохнув и набожно взглянув на икону.

— Правда это, что он говорит? — спросил я Сысоева.

— Уводил... не потаюсь!.. — ответил он,

— Зачем же ты уводил?..

— Хе... зачем? — усмехнувшись, повторил Сысоев, проведя рукою по бороде и усам. — Да вот и говорю, милостивец, што бить бы нашего брата надоть, вывочку-то такую бы задать... штоб до могилки памятна была; вот и были бы умней, и сами-то в спокое бы жили... и начальство-то не утруждали бы просьбами... в грехи-то наши не путали!..

— Ты об'ясни мне: для чего ты без его позволенья коня у него увел? — снова спросил я, прерывая поток его красноречия.

— Хе... нешто разбой какой сделал я?.. — спросил он.

— Для чего ты увел?

— Коня я увел у него, братец ты мой, вот для какой причины, — ответил он, немного подумав: — ведь взять, теперича, у него в случае неустойки, окромя коня, нечего. В избе-то у него, окромя бабы да сарыни... пустехонько... што ись березового голика не найдешь... Из одной чашки, как собаки, прости господи, лакают!.. Ну, и увел у него коня... Чего с него взять?.. Вот он весь тут: чего на нем, то и при нем...

— Ты все-таки не об'яснил мне: для чего ты увел у него лошадь? — настойчиво спросил я.

— А так полагал, милостивец, в своем-то уме-разуме: возьму, мол, у него коня да и придержу у себя... тогда уж он беспременно придет и отработает долг, а когда отработает сполна долг, тогда и коня ему отдам!.. Да вишь вот, сердоболье-то заело... не надоть бы и отдавать-то...

— Нешто ты коня мне отдал? — спросил его Абыш.

— А кто-ж?.. — не глядя на него, спросил Сысоев.

— Пошто, Митрофан, ты врешь?.. А?.. Пошто ты врешь?.. Погляди ты на своего бога, а!.. Вон он, старичик-то Микола ваш! — говорил Абыш, указывая пальцем на икону Николая чудотворца, висевшую в переднем углу. — Он добрый старичик... добрый... кабы он не добрый был, давно бы тебя пришиб... Ваш бог не наш шайтан... Наш бы шайтан э... э... давно бы кончал тебя...

Никита Васильевич засмеялся и, по обыкновению, закашлял в руку, глядя на комичную фигуру Абыша, с жаром обяснявшего неправду.

— Уйми его, пущай не врет! — с поклоном обратился ко мне Абыш. — Плакал я, в ноги кланялся: «отдай мне, Митрофан, коня... я тебе и так отработаю хлеб... Пущай, говорю, и твой бог Микола, и мой Шайтан... кончают меня и бабу кончают, и сарынь всю кончают, коли не отработаю тебе хлеб. Бедный я... у меня все-го один конь, куда я без коня, бе-е-да!» Не отдал!.. Пошел к его старосте Василью, тому в ноги поклонился: «вели Митрофанду коня мне отдать». Пошел староста Василий к нему, мужик ихний пошел... много их мужика пошло... «Отдай, говорят, Митрофан, коня Абышке... грешно, говорят, зорить его». Шибко его корил их мужик... Не отдавал!.. Василья-то, старосту, за ворот брал... Грех такой был, бе-е-еда!..

— За ворот брал... хе... возьми-ко! — смеясь, произнес, не глядя на него, Митрофан. — Зады... нешто... не дисаны...

— Брал! — крикнул Абыш. — Пошто ты врешь, Митрофан? Староста Василий живой человек... сам скажет: брал!.. Староста Василий и коня у тебя отобрал и отдал мне... Пошто ты врешь!.. Ой... ой... худо энто. Митрофан, — закончил Абыш, качая головой.

— Скоро начнется у тебя жнитво? — спросил я Сысоева.

— Гляди... за недельку-то и приниматься надоль...

— А что стоит у вас пудовка ржаного хлеба? спросил я его.

— Глядя по хлебу и цена, милостивец, — ответил Митрофан. — Каков хлеб.. Хороший хлеб продаем и тридцать пять, и сорок копеек пудовку...

— Митрофан Артемьевич... когда же у нас хлеб-то был в этакой цене? — прервал его Никита Васильевич.

— Случалось, милый... что ты...

Я девять лет живу здесь, не слыхал о такой цене!

— Оно чего говорить... точно... за последни-то го-да господь взыскал урожаем... Оглянулся, говорю, на нас творец-то небесный. Поспал хлебец в цене-то, — говорил он каким-то особенно мягким голосом, избегая взглядов Никиты Васильевича.

— По-чем же ты ценишь пудовку того хлеба, что дал Абышу? — снова спросил я Сысоева.

— Как ты его, милостивец, на цену-то будешь класть?.. Мы все под работу даем, — ответил он.

— Ну, если б ты продал его, то сколько бы взял за пудовку?

— Да што, сударь... пустой это разговор!.. Цену мы кладем... глядя тоже, кто покупает! — снова уклончиво ответил он.

Я распорядился, чтобы все крестьяне и инородцы, имевшие до меня дело, вошли в комнату. Минуту спустя, они, один за другим, входили в дверь. Крестьяне и крещеные инородцы, войдя в комнату, прежде всего крестились и потом уже кланялись мне, приветствуя: «добroe здоровье твоей милости!» или «ночевал здорово, батюшка!» и т. п. Некрещеные же инородцы, входя, только кланялись и старались стать в стороне, поодаль от других.

— Скажите-ка вы мне по-правде, — обратился я к крестьянам: — по-чем продавали вы в прошлую зиму пудовку ржаной муки?..

При этом вопросе крестьяне и инородцы молча переглянулись между собою.

— Ржаной-то муки пудовку по-чем продавали? — повторил один из крестьян, седой уже старик, в больших, серых глазах которого отражались и добродушие, и искренность, внушавшие к нему невольное почтение и доверие. — Да по-чем продавали-то? — повторил он, поглядев вокруг себя: — десять-то копеек красная цена была!..

— Де-е-есять, — повторил Сысоев, искоса посмотрев на него.

— Ай дороже, скажешь, а? — спросил у него старик. — Да я первой двадцать три пудовки по десяти копеек продал тому... вон... как он ужо... дай бог память... ну-у... вытряхнуло из ума-то, — говорил он, почесывая затылок, — Филоху... Моркелычу... вспомнил... Приказчик он из Бийска...

— И путную цену взял... А то и по девятыи сбывали! — пронеслось в толпе.

— Путную... И я-то говорю... дороже десяти *цены* не слыхивали... — ответил старик..

— У нас на хлебце-то, сударь, не расторгуешься, — бойко произнес молодой парень: — да-е-ешев... ешь на здоровье... В урожай-то когда... не хошь-ли по шести копеек пудовку.

— И отдашь!..

— Гноить не будешь... особливо, как подушна-то подкатит.

А много ли вы платили в жнитво поденщику? — спросил я, прерывая поднявшийся между ними говор.

— Не случалось нам, кормилиц, нанимать-то, — ответил старик, — Сами мы этим делом орудуем... Это, вот, богатый кто... что сеет-то по-многу... ну, тот о работнике-то плачется... в ину пору...

— Уж мене-то семи рублей за денек не наймешь... Да и все удовольствие еще предоставишь! — ответил тот же парень.

— Глядя по году платы-то, сударь... В ино время, как хлеб-то поспеет... да начнет осыпаться... так и восемь дашь, и восемь с полтинкой, и то не всякий-то бросится...

— Семь рублёв без обиды давай! — ответил парень.

— Семь рублей... на полном твоем удовольствии... чтобы, значит... и горячее, и угощенье... пожалуй, что обиды не будет... — ответил старик. — Уж путный хозяин, известно... обиды не положит работнику... удовольствует его... Ему ж веселей глядеть, как богоданы-то снопики... расти почнут...

Все время, пока шел разговор между мною и крестьянами, Сысоев улыбался, поглаживая усы и бороду и искоса, пытливо поглядывал на меня. Абыш же стоял неподвижно и совершенно безучастно слушал, о чём около него говорят.

— Слушай, Абыш, — начал я, обратившись к нему: — ты брал у Митрофана Сысоева четыре пудовки хлеба с обязательством отработать ему этот хлеб, когда придет жнитво, четыре дня...

— Отроблю, батюшка... И... и пошто он только жаловался... бог его... Микола... знает...

— Для того же, чтоб это дело было вернее... я дам башлыку твоему предписание... чтоб он выслал тебя в Атаманову, когда подойдет рабочая пора...

— Не пиши... сам приду!..

— Спасибо тебе, милостивец! — произнес обрадованный Сысоев, кланяясь. — Дай тебе господи... за твою правду... Я уже сам гумашку-то свезу... Миколаю-Кульчуганычу... Оно верней будет дело-то.

— Хорошо, отвези! — ответил я.

Сегодня же сбегаю... по твоей-то гумаге... Миколай-то его поверне-е-ет...

— Ну, затем ты, Сысоев, слушай! — прервал я.

— Говори, милостивец... Слышу... слышу... Дай тебе господи...

— Пудовка муки стоит десять копеек...

Десять?.. Да по што же десять-то? — удивленно прервал он.

— Сколько же, по твоему, стоит она?

— Уж бедко, бедко двадцать-то копеек положить за нее надоть... Я... на общество сошлюсь... Пусть общество под присягой покажет, каков у меня хлеб-то: ядреный, крупный, зерно к зерну... не чета, как у других! — говорил он, не обращая внимания на смех и шепот окружающих.

— Ну... хорошо... пусть будет двадцать копеек, — ответил я. — Так слушай же: за те четыре дня, которые Абыш отработает у тебя, ты должен заплатить ему по семи рублей в сутки...

— Заплати-и-ить!? — удивлено протянул он.

— Да, заплатить двадцать восемь рублей; а за вычетом восьмидесяти копеек, что стоят четыре пудовки хлеба, ты отдашь ему на руки двадцать семь рублей: двадцать копеек... Понял?..

— Как не понять, понятно... — произнес он.

— Для того же, чтоб ты не обманул его, а рассчитал как следует, я предпишу волостному старшине наблюсти за тобой и, в случае твоего упорства, взыскать с тебя эти деньги узаконенным порядком...

— Это ты по-каковски же меня рассудил? — спросил Сысоев, отставив левую ногу и заткнув пальцы обеих рук за кушак. — Это ты за што же зоришь-то меня, а?.. Не-е-ет... ваше благородие, у нас этак-то не судят, не погневи... Мы за энту обиду и до превысшей власти дойдем!.. Я же ему, теперича, хлеб давал, может быт смертного часу его спас... за то, чтоб он отробил мне энот хлеб... да я же и плати ему за работу?

Не-е-ет.. этак-то милосердствовать, ваше благородье, не доводится... Уж денег ему от меня не видать... же погневи!..

— Что же, ты не заплатишь ему?..

— И не в жизнь... Это, чтоб лиходеем себе быть.. да избави господи!..

— Есть у тебя, Абыш, 80 копеек, чтоб отдать ему?..

— Нет... Весь вот тут, бачка! — тоскливо ответил он, разведя руками.

— Это можно из волостных сумм, сударь, выдать... а потом, при взимании ясака, получить с него! — вмешался Никита Васильевич.

— Ну, Сысоев, ты получишь 80 копеек, и более не имеешь права требовать, чтоб Абыш работал на тебя. А ты, Абыш, не являйся к нему на работу, твой долг уплатят!..

Абыш вышел из комнаты, продолжая кланяться даже и за порогом. На исхудалом лице его выражалась радость, в глазахискрились слезы... И долго еще со двора мне слышался голос Сысоева: «Не-ет... с таким судом долго не проживе-е-ешь!.. Пущать тоже по миру нашего брата не доводится... Мы и до губернатора дорогу найдем... мы, коли что, и самолично...»

— И ндравный же мужик!.. — пронеслось среди усмехнувшихся крестьян.

— Обсуди, батюшка, теперича мое дело, коли время-то терпит тебе... Уж очень бы в обиде-то нам не хотелось оставаться, — заговорил, выдвигаясь из толпы, пожилой крестьянин, одетый весьма бедно: в смурый зипун с холщевыми заплатами на рукавах и груди. Широкое лицо его, обрамленное окладистою бородой, в которой пробивалась уже густая седина, имело весьма степенный вид: серые глаза смотрели наблюдательно из-под густых, русых бровей, и когда он говорил, то исподлобья оглядывал слушателя, как бы поверяя впечатление, производимое его словами. — Пасеку я держу, пчелками кормлюсь, — продолжал он. — И редкий год, батюшка, выдастся, чтобы пчелы у меня в Чернь не слетали... Уж как начнут роиться по весне.. так как караулю их... во все-то глаза гляжу... нет... все роя два-три, а то, пособи бог, и более... улетят.. в Чернь.. В ину пору выследишь их, где они оснутятся,

а в ино время и следа ихнего не найдешь... В прошлую весну два роя слетели... ну, нашел их в валежне, никак пудов до семи медку-то в дупло... в дерево наносили. И ныне роек слетел, также я выследил его и мечтко заприметил, где он основался. Крутень... горка этакая есть: в Крутени, в дупло также натаскали меду. Все караулил: придет, мол, пора, выну мед и воск. А прихожу ноне вырезывать, гляжу: уж все пусто, все ~~вичищено~~. Сначала-то было в ум мнё впало, что медведь позорил. Ну, опосля того, все-таки, начал татар поспрашивать. Татары-то и сказали мне, что в Крутени-то Кимык, говорит, нашел мед... никак пудов пять будет. Я к Кимыку кинулся... спрашиваю его: нашел мед в Крутени? Нашел, говорит!.. Это, говорю, мой мед... потому, говорю, моя пчела отлетела, я все лето сторожил его — отдай мне этот мед... У тебя, говорит, ~~везде~~ твои пчелы летают: кто бы где ни нашел, все твой мед... Так и не отдает. Принудь его, батюшка, отдать мне мое добро! — закончил он, поклонившись.

— А где же этот Кимык? — спросил я.

— Здесь!.. Где? Он вышел, никак? — спросил он, оглянувшись.

— Кимык... подь сюда! — крикнул Никита Васильевич, отворив дверь.

В комнату вошел высокий, худощавый, но сильного сложения инородец. Смуглое лицо его не носило того отпечатка униженности и покорности, какое выражалось в лице Абыша; оно было смело и энергично. Поклонившись мне, он расставил ноги и, заткнув пальцы рук за ременный поясок, так же усаженный оловянными пуговицами, как и у Абыша, спросил: — Чего изволишь от меня? Я Кимык!

— Ты нашел в Крутени мед? — спросил я.

— Нашел...

— Вот этот крестьянин, — начал я, указав ему на просителя, — говорит, что этот мед наношен его пчелами, отлетевшими весною в Чернь, и просит, чтоб ты возвратил ему этот мед.

— Уж ты, Максим Назарыч, моего меду не отвадишь!.. — с иронией произнес Кимык, обратившись к просителю... — Охочь ты до дарового-то медку... да виши... я-то не прост, не Намжилка... меня не одура-

чишь... Не отдаю я ему мед, ваше благородье, — произнес он, обратившись ко мне, — у него и своего много... Мой мед не его пчела носила...

— А чья же? Ты знаешь разве? — спросил я.

— Божья...

— Хе... божья! — повторил, усмехнувшись, Максим Назарыч. — Ты вникни, Кимык Балтаныч, в дело, а зря-то не говори. Это мои... пчелы... носили, мой роек!..

— Твои!.. Ты метил их, а? — спросил Кимык.

— Чудак!.. Как же ты на божью тварь метку положишь... а-а? В уме ли ты?..

— Почем же ты знаешь, коли так, что это твоя пчела?

— Ведь... я, поди, бежал за ройком-то... видел, где он основался...

— Бежа-а-ал! — протянул Кимык. — А что-ж ты не поймал его, а?.. Пошто другие-то пасечники, коли следят за роем да наметят, куда присядет матка... — так сейчас сгребают ее в сеть? А ты, вишь, какой простенькой, и шевелить ее не стал... пустил в Чернь гулять.. ой... ой!.. Нет, еслиб ты свою-то пчелу увидел... так' полсотни верст пробежал бы за ней, да дни и ночи над ней бы сиднем сидел, а не пустил бы без призору по Черни гулять... Знаю я тебя!.. Его пчела, вишь, носила в Крутени мед! — произнес он, обратившись к окружающим. — Пошто ты, коли знал, что это твоя пчела, — не сидел над ней, не караулил ее?

— Не разорваться же мне ради одного ройка... У меня, Кимык Балтаныч, пятьсот колодок пчел-то, есть за чем присмотреть... знай!

— Чем же ты докажешь, что найденный Кимыком мед действительно наношен твоими пчелами? — спросил я.

— Чем тут докажешь! — ответил он. — Энти дела у нас по совести делаются... Одно и скажу, что окромя моей пчелы, какой же другой наносить, коли я доподлинно знаю, что мой роек в Крутень слетел да основался...

— Скажи мне, пожалуйста, зачем ты, если высследил, что твой рой пчел слетел в Крутень и, как ты говоришь, основался там, не предупредил об этом в

то же время живущих поблизости к этой местности татар... не заявил башлыку их и своему старосте, что твои пчелы в Крутени? Тогда бы у тебя были доказательства, что найденный в этой местности мед, действительно, наношен твоими пчелами и принадлежит тебе. Отчего ты не сделал этого?..

— Вишь вот грех-то!.. И в ум не впало... об'явить-то!.. — смешавшись ответил он.

— Не впало бы тебе в ум?! — насмешливо произнес Кимык. — Ох, Максим... не лукавь... не вводи в сердце...

— О-о... какой строгий!.. Не вводи его в сердце! — желчно ответил Максим. — А ты не забывайся... перед лицом-то начальника, его высокоблагородия, — строго произнес он: — глупый... овамятуйся!..

— У Намжилки в прошлом году ты свой мед отобрал? — спросил его Кимык.

— Свой.

— Сво-о-ой!.. Хошь, я тебя.. обнаружу, а?..

— Обнаружу!.. — повторил, усмехнувшись, Максим. — Чего ты обнаружишь-то... а?.. Чего ты страшашь... а?.. Обнаружу, говорит, — повторил он, обведя окружающих смеющимся взглядом. — А чего обнаружишь, и сам не знаешь... Чудак, право... Глупый, говорю, человек!.. О-обнаружу!..

— Я... Максим, смирно жил: не лез на тебя, — произнес Кимык.

— Кто б исшо допустил тебя... на себя-то залезти... Хе... ты бы... хоть... поприличней слова-то выпускал пред начальником, — снова строго-внушительным тоном заговорил он. — А то еще страшашь... Обнаружу!.. Ну, что ж замолчал?.. Обнаруживай!..

— Ваше благородье... ты Максиму не верь: он плут! — горячо заговорил Кимык, на лице которого выступила краска. — Он уж который год обирает по Черни мед у татар... Верь... это вот какой плут!.. Слушай... Как придет, слышь, время... што наши татары пойдут на промысел в Чернь... мед... искать... он и почнет по селам ездить, водкой татар поить да выведывать: не нашел-ли кто из наших меду... А те с простоты-то да спьяна и сболтнут ему.. што... вот хоть бы я, к примеру, Кимык, нашел мед. Он и приступит: где-

нашел? В Крутени, скажут ему... Вот он и привяжется, што... это его пчела слетела туда да наносила меду. Кричит: подай!.. Не правда... скажешь... а?.. — спросил он Максима.

— Болтай... болтай... послушам, чего дале-то сболтнешь...

— Сболтну... я-то по правде сболтну...

— Ну... ну... послушам... болтало-то, ведь... не привязано, хе... — насмешливо ответил Максим.

— А кто упрется... сlyшь, ваше благородье.. не станет ему мёд отдавать, — продолжал все более и более воодушевляясь Кимык, — так он чиновниками почнет... страшать... Просьбой отдать, говорит, а то тебя в город выпишут... на следствие... в острог посадят... Глупый-то кто испужается... да и отдаст ему... только бы греха не нажить... Не правда... скажешь, Максим, а-а... Намжилку ты в прошлом году не страшал этак-то, а?

— За свое кровное если стоять, так устрачивать разве, а-а?..

— Кро-o-вное!.. У тебя все кровное.. А как ты мне грозил чиновником-то... ну-ко... скажи... а?..

— А хоша-б и грозил... што-ж из эстого, ну? И грозил!.. Вот мы пред ликом его высокоблагородия стоим. Нешто худое чего сделал я, а-а?.. Где-ж на вас, собак, суда-то искать... окромя начальства, а?.. Глупый ты человек, право, хошь бы говорил-то резон... а то мелет... мелет... О-обнаружу! А чего обнаружил-то: што чиновником вашего брата припугивал, штоб правды от вас добиться... Обнаружил... хе... — смеясь, заключил он. — Прикажите ему, ваше высокоблагородие... отдать... мне мой мёд... окажи милость...

— Нет, не прикажу, — ответил я.

— О-о... пошто же так? — удивленно спросил он.

— Признаю твою претензию неосновательной. Представь доказательства или свидетелей, что найденный Кимыком мёд действительно наношен твоими пчелами, и тогда я прикажу возвратить этот мёд тебе...

— Моими, батюшка, верь совести.. на бога соплюсь, моими...

— А кто поручится, — скажи мне, что через час не придет еще кто-нибудь... и так же скажет, что мёд в

Крутени был наношен его пчелами... и так же на бока сошлется и на совесть, кому же из вас тогда я должен буду поверить, а?..

— Ишь вот промашку-то какую дал! И то бы надоть в то время старосте об'явить да башлыку... Ишь... ум-то, говорю, у нас... завсегды задней заклепкой крепок, — говорил Максим, всхлопывая себя руками по бедрам. — А-ах, ты, горе какое, а?.. Так... уж не будет, батюшка, твоей милости ко мне? — снова спросил он.

— Нет, не будет, голубчик.

— А-ах, ты, горе-то, а?.. Ну, не погневи, что потрудил тебя своей дэкукой... Дай тебе, господи, за доброе слово... что надоумил. Уж напредки, теперича, коли што, так уж мы свидетелей предоставим... Прости уж меня, Кимык Балтанаыч, что побеспокоил тебя, — говорил он, с христианским смиренiem кланяясь Кимыку: — владей моим медком, кушай его на доброе здоровье..

— С'едим, Максим... с'едим!..

— Кушай!.. Давай бог... чтобы... только в прок пошел!.. А ты бы, ваше высокоблагородие... хоша бы на половинке помирить нас... Яви милость!.. — снова обратился он ко мне. — Бедко ведь... мне... право, бедко.

— Не могу и этого сделать... не проси!..

— Не можешь! Эко ты, дело-то, а?.. Задаром только с'ездил, день потерял... Ну, прости, коли так... А на половинке-то помирить все бы, слышь, безобидней было: по крайней мере, знал бы, что не даром с'ездил... Право... Яви-ко милость!.. — кланяясь, заключил он.

Получив отказ на свое ходатайство, Максим Назарыч отошел к дверям и долго топтался на одном месте, то почесывая затылок, то выражая втихомолку окружающим свои сетования, что напрасно потерял время. Впоследствии я узнал, что он купил спорный мёд и воск у Кимыка за три пудовки ячменя и десять фунтов табаку. Однаково помирились после моего разбирательства и Абыш с Митрофаном Сысоевым. Мировая состоялась на том, что Абыш отработал Сысоеву пять дней, а Сысоев обещал снабдить его за то хлебом осенью и зимой.

Остальные крестьяне и инородцы были собраны для

разбирательства дела, начавшегося по жалобе инородца. Кучука Самкоева на крестьянина Ивана Степнова, который, будто бы, по ненависти к Самкоеву убил его лошадь. По разбирательству дела оказалось, что лошадь у Самкоева пала в поле, и он, в отмщение Степнову, бывшему однажды свидетелем по обвинению Самкоева в воровстве, нарочно ночью разрубил у мертвой лошади топором живот, а на другой день заявил башлыку, что лошадь его зарублена, и башлык вошел с рапортом по начальству о преступлении, совершенном, будто бы, Степновым.

Едва я окончил разбирательство этого дела, длившееся почти до часу и нуждавшееся еще в оформлении его обычным следственным порядком, как к воротам подъехал на рессорных пролетках, заложенных парою прекрасных гнедых лошадей в дышло, плотный мужчина в пуховой шляпе и в светло-коричневой, тонкого сукна, шинели. Только-что послышался стук рессорного экипажа, как среди крестьян и инородцев пронесся шопот: «Назар Степаныч приехал!» Никита Васильевич, все время стоявший у косяка двери, при этом известии скрылся из комнаты, а крестьяне и инородцы, толпившиеся у двери, расступились, очищая путь такой влиятельной особе. Признаюсь, я с любопытством ожидал появления этого замечательного в своем роде субъекта. После освящения построенной им церкви, он задал богатый обед для приглашенных в церемонии уездных властей, напился пьян, разругал всех гостей, многих из них вытолкал из своего дома, прибил протоиерея, святившего церковь, и выражал подозрение, что сановитые гости скрали у него серебряные ложки и другую ценную посуду... Нанесенные им оскорблении грозили принять серьезный оборот, но дело замяли, благодаря повинной, принесенной Назаром Степанычем.

Спустя минуту, дверь распахнулась, и в комнату вошел Назар Степаныч, гордо оглянув и не удостоив поклоном униженно кланявшихся ему крестьян и инородцев. Это был человек среднего роста, полный, с широким лицом, украшенным узенькими глазками, сияющим носом и толстыми губами. Подбородок и усы его были тщательно выбриты. Черные как смоль

волосы разделены были пробором посредине головы и расчесаны на двое. Одет он был в черный, длиннополый, тонкого сукна, сюртук и необыкновенно широкие брюки, закрывающие носки лакированных, сильно скрипевших сапогов. На шее его красовалась золотая медаль на анненской ленте, по глухому жилету малинового бархата с золочеными пуговицами тянулась массивная золотая цепь от часов; коротенькие толстые пальцы были усажены золотыми перстнями и кольцами.

— Слышу, что новый начальник удостоил приехать к нам... Ну, милости просим... Дай, говорю, поеду, честь ему сделаю... Здравствовать желаю вашему благородию, — развязно-фамильярным тоном произнес Назар Степаныч, подходя ко мне и подавая руку.

— Знаешь поди, кто, я? — спросил он.

— Нет, не знаю...

— Купец второй гильдии Назар Степаныч Куртегешов! — с достоинством отрекомендовался он.

— Очень приятно, Садитесь! — пригласил я.

— Сядем, сядем! — ответил он, приподнимая сзади полы сюртука и усаживаясь на стул. — Зачем же ты, выше благородие, ко мне не пристал, а?.. — спросил он. — У меня дом-то почище; у меня, брат, небель-то бархатом околочена... девять комнат в доме-то: было бы тебе где разгуляться... Назара, брат, все знают... все чтят, все к нему идут, а ты обошел... Ты спроси-ко, вот, у кого хошь... что за человек Назар... а?

Я уже слышал...

— Слышал... а-а?.. Ну, зачем же не пришел ко мне; коли слышал, а-а?.. — спросил он, насупив свои густые, черные брови.

— Мне и здесь хорошо...

— Хорошо... а-а?.. Ну... у меня бы лучше было, лучше... Ну, как поживаешь?.. Нравится ли тебе у нас?.. Чего в городе слышно? — спрашивал он. — Про губернатора не слыхал, приедет к нам или нет, а?

— Не слыхал...

— Приятели мы...

— С кем?..

— С губернатором-то!.. Бо-о-ольшие приятели... чтит он меня...

— За что же?

— Человека ценит, ум! — гордо ответил он... — Я, когда в Томске бываю... завсегда к нему легкой ногой иду... «Как, говорит, ты, Назарка, поживаешь?» Назаркой зовет он меня... Хе... хе... До-о-обрый генерал... по плечу треплет... Живу, говорю, ваше превосходительство... «Ну, ну... живи, говорит, Назарка... Живи, живи». Бо-о-ольшие приятели... Я, брат, со всеми чиновниками приятель... И ты будь мне приятель...

— Благодарю за честь...

— Будь, будь... Со мной хорошо, брат, в дружбе жить...

— Чем же хорошо? — полюбопытствовал я.

— Коли ты друг мне, все делаешь для меня, то чего тебе только надо... легкой ногой иди ко мне... все дам тебе... отказу не будет... У Назара все есть... и шкурки, какой только надо, дам... и денег... и меду... Слышал?.. Все дам...

— Слыши...

— Легкой поступью иди... Скажи только: Назар Степаныч, дай мне денег... снабди... Сейчас дам!

— Вы, что же... всем, кто ни попросит, даете денег?..

— Всем!.. Поедем ко мне.

— Благодарю, мне некогда!..

— Поедем!.. Угощу... Я тебе шкатулку покажу... такой погребчик у меня есть, где... вот какая... охапка векселей лежит, — произнес он, разведя руки на четверть аршина: — все от чиновников... Вот я какой человек. Понимаешь теперь меня... а-а?

— Понимаю...

— Худой я человек... а-а?.. Как скажешь, а-а?

— Не знаю...

— Не знаешь?.. Ну, узнай... Поедем ко мне... Рому выпьем, в дружбу войдем... У меня в дому-то все есть... и кофе... и конфета всякая... и закуска, и вино... все есть... Поедем...

— Не могу...

— Я зову... поедем... Будешь доволен!.. Церковь... погляди, что построил я!.. Бабу мою увидишь!

— Очень бы рад, но не могу, некогда.

— Не хочешь, Назаром брезгуешь, а? — обидчиво спросил он.

— Не еду, просто, потому, что мне некогда: у меня много дела и мне дорого время.

— Я тебе честь сделал... и ты мне честь отдай... Понимаешь? Так все господа делают, — заметил он.

— Понимаю!.. Я и отда姆 вам честь... только не теперь, а в другое, более свободное время... Теперь же не могу... мне некогда.

— На тебе... какой чин? — неожиданно спросил он, снова наступив брови.

Я сказал ему.

— Э... э... Ты еще молодой парень,шибко молодой... Совсем еще маленькой на тебе чин, — сказал он, покачав головой, — а ты уж нздравый... А ты бы по-смирнее жил, чтил бы людей... и тебе бы хорошо было!.. Меня, брат, статские советники чтят и генералы чтят; и полковники... К кому я только приеду в гости, сейчас вина подают... конфеты всякой... за-акуски... «Ешь, говорят, Назар Степаныч». В передний угол садят. А ты спе-есив, не по чину спесив!

— Это уж мое дело!.. Теперь я попрошу вас: избавьте меня от ваших нравоучений...

— Спе-есив ты, ваше благородье, спесив... Ну... ну... скориться на первый раз не буду с тобой... Суди... суди... народ... Суди!.. Мо-о-ошенник нынче стал наш инородец... Я, ведь, тоже инородец, да я хороший инородец... Я в бога, как следует, верую... совсем, как русский человек. Церковь я построил на свои деньги... Вишь, вот медаль от батюшки-царя имею... с портретом... Вот я какой инородец, знай!.. А те... все... худой народ... ху-у-удой... — протянул он, качая головою.

— Чем же худой?

— Врет все, обманывает, в бога худо верит!.. Я исход в руках их держу, не даю имшибко-то баловать, а то бы совсем он бога забыл... Я и церковь им построил, чтоб он настоящего бога знал!.. Назар им много добра делает... Назар им отец... Назар один на всю Чернь... Вот каков Назар... Не будь Назара, всплачут... У тебя тут есть дельце, ваше благородье, — неожиданно начал он: — девка девку ножом портила, глотку порола.

— Есть, — ответил я.

— Суди полегче девку-то, што ножом-то порола... Сродни она мне будет!.. Легче будешь судить, друг

мне будешь, а не будешь легче судить, осержусь... Хе... хе... Ну, ты добрый, я ведь вижу, что ты добрый... Мы тоже людей мало-мало знаем... Спе-есив только ма-ленько... Поедем, слыши, ко мне, а?.. Собольков на воротник к шубе подарю... А в милость войдешь ко мне, всю шубу подарю... Езжай... Слушай Назара... а? — говорил он, вставая.

— Не могу...

— Спе-есив... Спе-есив!.. Ну, ну... не езди, принуждать не стану: Сам после спокаешься!.. Кто к Назару добр, и Назар к тому добр... Ты спроси-ко своих чиновников, довольны ли они Назаром Степанычем, все скажут — довольны... Баба у тебя есть?.. Женатый?..

— Холостой...

— Э... э... Ну, это худо дело... Как же ты живешь без бабы, а?.. Без бабы жить нельзя... Женись!.. Вот как бы баба у тебя была, я бы бабе твоей чернобурёнью лисичку на воротник подарил. Ну... прощай, ваше благородье... Не обессудь Назара Степаныча, — говорил он, так же фамильярно протягивая мне руку на прощанье. — Одумаешься — приезжай, будешь доволен... Может и шубу подарю, коли в добрый час приедешь...

Визит этого финансиста произвел на меня тяжелое впечатление... Мне было смешно от его глупой кичливости и хвастовства своими связями и богатством, и в тоже время больно; больно от того, что в хвастовстве его было много правды. Его, действительно, как говорил он, «чили» ради тех подарков, какие делал он за оказываемую ему честь. Собираясь об'ехать все айлы и улусы, разбросанные в горах Алтая, я имел намерение, кроме ближайшего знакомства с бытом инородцев, проследить вместе с тем все подвиги Назара Степановича и подобных ему героев нашего времени. Но поручение, возложенное на меня по случаю проезда одной, весьма важной, особы, а затем выход мой в отставку лишили меня возможности осуществить это намерение.

В тот же вечер я покинул О—ий улус. Я долго, долго не мог оторвать глаз от окружающей его картины... Я как будто предчувствовал, что вижу ее в последний раз... Мне стало грустно, глядя на снежные вершины

Алтая, клубившиеся на горизонте. Об'ехать эти горы, поражающие своим диким величием, изучить быт населяющих Алтай племен было заветной мечтой моей, к несчастью не осуществившейся. На Архиерейской горе я простился с провожавшим меня Никитой Васильевичем и более уже не встречался с ним. Впоследствии я узнал, что он окончил свою карьеру весьма печально. Его заподозрили в составлении анонимного письма к какой-то особе, в котором обнаружены были все темные стороны местных порядков, и, как человека неблагонадежного, имеющего будто бы дурное влияние на инородцев, выселили из улуса. Распоряжение это разорило его. Он продал пасеку, хозяйство и помер в 1874 году, в крайней бедности. Услышав о разразившейся над ним катастрофе, я невольно вспомнил слова его: «Долго-ль смять меня и раздавить, как червя!»